

Лавинцев А. И.

ЦАРИЦА-ПОЛЯЧКА
ОБЕРЕГАТЕЛЬ

ЖЕНСКИЕ ЛИКИ — СИМВОЛЫ ВЕКОВ

Женские лики – символы веков

А. И. Лавинцев

Царица-полячка. Оберегатель

«Алгоритм»

1902

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

Лавинцев А. И.

Царица-полячка. Оберегатель / А. И. Лавинцев — «Алгоритм»,
1902 — (Женские лики – символы веков)

ISBN 978-5-486-03038-3

А. И. Лавинцев – один из более чем 50 псевдонимов Александра Ивановича Красницкого (1866–1917) – русского прозаика, журналиста, драматурга и стихотворца. Став профессиональным журналистом, он работал практически во всех санкт-петербургских газетах и журналах. В 1892 году Красницкий стал сотрудником издательства А. А. Каспари «Родина». Большая часть литературных работ писателя напечатана в изданиях Каспари и в приложениях к ним; кроме того, многие его произведения вышли отдельными изданиями у Сойкина, Девриена, Вольфа, Сытина. За весь период своего творчества Красницкий написал около 100 романов (в основном исторических), а также большое число рассказов, стихов, пьес. Произведения, представленные в данном томе, рассказывают о двух представительницах царствующего дома Романовых: Агафье Семеновне – русской царице из дворянского рода Грушецких, супруге царя и великого князя Федора Алексеевича («Царица-полячка»), а также царевне Софье Алексеевне – дочери царя Алексея Михайловича, которая после смерти Федора Алексеевича стала регентшей при малолетних братьях Иване и Петре и фактической правительницей России в 1682–1689 годах («Оберегатель»).

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03038-3

© Лавинцев А. И., 1902

© Алгоритм, 1902

Содержание

Царица-полячка	6
I. Ганночка Грушецкая	6
II. Дорожное приключение	9
III. Таинственное жильё	11
IV. Неведомый хозяин	13
V. Наследственная обида	15
VI. От гнева к гневу	17
VII. Лесное логово	20
VIII. Разбушевавшаяся буря	22
IX. Темный умысел	26
X. Среди женщин	29
XI. Луч надежды	32
XII. Трудное дело	35
XIII. В тумане грядущего	37
XIV. Вызволённая боярышня	40
XV. В лесной трущобе	43
XVI. За подмогою	45
XVII. По лесной дороге	48
XVIII. В объятиях лютой смерти	50
XIX. Из огня в полымя	52
XX. Успокоившаяся буря	54
XXI. Неожиданное знакомство	56
XXII. Кровопролитие	59
Конец ознакомительного фрагмента.	60

А. И. Лавинцев

Царица-полячка; Оберегатель: Романы

Царица-полячка

І. Ганночка Грушецкая

Ранней неприветливой весной 1675 года по сквернейшему проселку от границы к пауку-Москве двигался боярский поезд.

Видно было, что пробиравшийся из пограничной глуши боярин был не из важных, так, захудалый какой-то, а если и не захудалый, то настолько обсиженный в злосчастной и Богом, и людьми забытой мурье, что позабыл там, в своей берлоге, как живут люди на свете. Там-то, у себя, он, каков с виду ни был, – всем и хорошим, и важным казался, хотя бы потому, что видней его во всей захолустной округе никого не было; но то, что было хорошо для мурьи, для подмосковных мест, всякие виды выдавших, казалось жалким, убогим и смеха достойным.

Боярская колымага была бедная, подправленная, вершники и вся прочая поездная челядь рваные, чуть ли не в лохмотьях, лошаденки тощие, чахлые, будто овса никогда не видали. Поглядеть со стороны – просто срам один.

Однако боярская челядь как будто и не признавала этого своего убожества. Вершники держались с наглой, вызывающей гордостью и на редких встречах проезжих так орали, требуя очистить дорогу, что у тех лошади шарахались с перепугу, а их седоки, с удивлением взглядывая на убогий поезд, только уже на большом расстоянии догадывались пустить вдогонку ему свое нелестное замечание.

Но всякое недовольство стихало, когда из возка выглядывала на встречного проезжего головка молоденькой красавицы-девушки.

Этот неважный поезд принадлежал московскому дворянину Семену Федоровичу Грушецкому, внуку польского выходца, застрявшего в Москве во время лихолетья. Его отец еще молодым человеком за какую-то дворцовую провинность был отослан Тишайшим на вотчину, то есть попал в опалу. Там, в глуши, он и скоротал свой век, и, умирая, завещал своему единственному сыну, тоже успевшему состариться в отцовской опале, во что бы то ни стало восстановить блеск рода Грушецких, еще недавно, при первых Романовых, славного и знаменитого. Но какие хлопоты ни предпринимал Семен Федорович – все было напрасно. Вокруг Тишайшего во все время его царствования так и кипели дворцовые интриги. Даже самому государю от них несладко жилось. Бояре так и грызлись, стараясь проглотить живьем один другого, и на Москве никому не было дела до сына давно позабытого чужака. Долгие годы опалы уничтожили всякую память о нем у гордых ближних бояр, а о сыне опального старика, понятно, и вовсе некому было думать.

Но в конце концов Семен Федорович, должно быть, надоел своими бесчисленными челобитными о службе царской, которые он с упорством отчаяния слал на Москву с каждой оказией. Вернее всего, только ради того, чтобы как-нибудь отвязаться от надоедливого челобитчика, ему дали в управление крохотное Чернавское воеводство. Впрочем, в том положении, в каком был Семен Федорович после смерти своего опального родителя, и это было хорошо.

Чернавск был хотя и захудалым городишком, но все-таки он был ближе к Москве, чем медвежий угол на границе Литвы, где была жалованная вотчина Грушецких, и Семен Федорович, недолго сбираясь, тронулся на свое воеводство, полный самых радужных надежд на будущее.

Он так спешил, что отправился один, даже свою единственную дочь, красавицу Ганночку, бросил на попечение мамушек да нянюшек – Грушецкий был вдов, – и только спустя порядочное время прислал приказ и дочери, нимало не медля, ехать к нему на житье в Чернавск.

Теперь дочь ехала к отцу, и именно на Ганю-красавицу заглядывались случайные встречные, если им удавалось подловить то мгновение, когда молодая девушка выглядывала из возка, чтобы подышать сырым, но чистым весенним воздухом.

И в самом деле хороша была собою Ганночка Грушецкая!

Предки-поляки передали ей типическую польскую красоту, растворившуюся в русской крови и слившуюся с русской красотой. Тонкие, словно точеные черты лица, русский здоровый румянец полымем во всю щеку, голубые с легкой поволокой глаза, нежно-золотистые волосы, непокорно выбивавшиеся кудряшками на высокий лоб, – все это было стройно-гармонично и притягивало жадный мужской взгляд, надолго оставляя по себе прочно вливавшееся в память впечатление.

Предки-поляки дали девушке и еще кое-что.

Грушецкие были герба Любеча, но вышли на Русь не так уже давно, чтобы польский дух, польский склад окончательно вытравился в них. Даже Семен Федорович, бывший по внешности уже настоящим русским, нет-нет да и проявлял кое в чем себя поляком. Единственную любимую дочь он воспитал далеко не затворницею. Да, впрочем, в той глуши, где ему пришлось прожить долгие годы, собственно говоря, и затворяться было не от кого.

Грушецкие у себя в поместье жили, как в монастыре, часто по несколько месяцев подряд не видя никого постороннего. Может быть, изнывая от тоски, Семен Федорович и задумал воспитывать дочь совсем не так, как обыкновенно воспитывались на Руси девушки того времени.

Он выписал для дочери из Варшавы через знакомых старуху-польку, вдову когда-то богатого шляхтича, и поручил ей воспитание Ганны. Конечно, старая полячка повела дело по-своему и воспитывала Ганночку на родной ей лад. Семен Грушецкий тут не жалел денег. В его берлоге появились не только разные книги, но даже довольно сносные клавесины, и отец очень любил, когда дочь начинала играть на них в длинные, скучные осенние и зимние вечера.

Войдя в девический возраст, Ганна, благодаря воспитанию на иноземный лад, была сравнительно развитой девушкой. Она умела читать и писать, бегло говорила по-польски, разбиралась в латинских книгах, имела довольно ясное понятие о жизни на Западе и даже понимала, если при ней говорили по-французски.

Впрочем, западные обычаи, вплоть до воспитания детей на новый чужеземный лад, уже успели проникнуть тогда на старую Русь. Отнюдь не было той дичи среди русских людей, какую стараются изобразить некоторые исторические писатели, откуда-то взявшие, что допетровская старая Русь была страной каких-то дикарей. Нет, этого не было. У русских была своя самобытная культура, развивавшаяся совсем правильно.

Сразу после падения татарщины началось быстрое сближение России с Западом. Начиная с царя-собирателя, везде по Европе разъезжали русские посольства. Иностранцы тоже свободно проникали на Русь, но вследствие некоторой отгороженности от начинавшего и тогда уже гнить Запада, русские люди могли брать оттуда только то, что считали хорошим, и всякая скверна огромной волной влилась в нашу многострадальную родину только после петровской ломки русского быта.

Отнюдь не была дикаркой-затворницей и Ганна Грушецкая.

Долгий, утомительный путь нисколько не нарушил ее хорошего, ровного настроения. Она, как птичка, вырвавшаяся из клетки, радовалась всему, что видела. Темные дубравы, сквозь которые им приходилось то и дело проезжать, не пугали ее, русский простор приводил ее в восторженное настроение. Однако к концу пути Ганна начала скучать.

Во все время путешествия не было никаких приключений, и Ганночка уже не с прежним интересом стала относиться к нему. Она ехала в просторном, тепло обложенном войлоками

возке со старухой-мамкой, и это усугубляло ее скуку. Ее воспитательница-полячка побоялась отправиться в глубь пугавшей ее Московии, а старая мамка была такая бестолковая, что и говорить с ней было не о чем.

– Да посиди ты покойно, Агашенька! – досадливо говорила старушка, которую беспокоило, что девушка постоянно выглядывала из возка. – Ну чего ты там егозишь? Или пустырей не видала? Пожалей мои косточки старые...

– Скучно мне, мамушка, – жаловалась Ганночка.

– Скучно, так уснуть попробуй! Сон-то от скуки куда как полезен!.. А не то, ежели хочешь, я сказку тебе расскажу. Хочешь?

– Расскажи, мамушка.

И старуха принималась рассказывать, даже и не замечая, что сказка вовсе не интересует ее питомицу. Все сказки своей мамушки переслушала Ганночка, все начала и концы были известны ей, и если в них было что-либо хорошее для молодой девушки, так только то, что эти сказки скоро сон нагоняли...

И засыпала под мирный старушечий голос молодая красавица. Начинали ей сниться всяческие сны. А известно, что в раннюю весну жизни снится всякой молоденькой девушке. Сны тогда ярко-золотые: снятся юные красавцы, шепчущие дивные слова вечной любви! Редко когда такие грезы становятся явью, но – что же? – хорошо быть счастливым, хотя бы только и во сне...

II. Дорожное приключение

Ганночка, убаюканная тихим говором старухи-мамки, сладко дремала, как вдруг неприятный, резкий толчок заставил ее открыть глаза.

Возок сперва словно нырнул куда-то, потом сразу накренился набок и сразу замер на месте, как будто вкопанный. Девушка слышала кругом сердитые голоса, громкие крики, даже брань. Ржали лошади, сустились люди, и невольный страх охватил душу Ганночки.

Старуха-мамка, тоже дремавшая, мгновенно проснулась.

– Что такое приключилось-то? – далеко высунувшись из бокового отверстия возка, закричала она. – Чего стали-то?.. Волк или заяц дорогу перебежал?

– Полозье, бабушка, сломалось, – подошел к ней один из челядинцев, – вот что.

– Пришла беда неожиданно-негаданно, – подтвердил слова первого другой. – И с чего бы, кажись, ломаться ему?..

– Так чего вы спите-то, окайные? – залилась старуха. – Не зимовать же здесь на поле... Веревками, что ли, подвязали бы...

– Да, говори еще! Подвяжешь полозье веревками, – раздался протесты.

– Так как же быть, голубчики? – смирилась мамка, чувствующая, что Ганночка дергает ее сзади за полы кацавейки. – Вы надумали бы там что-нибудь такое...

– А только то и надумать можно, – подошел старший из челядинцев, – чтобы кому-нибудь из нас на деревню скакать и кузнеца приволочь, ежели запасного полозья не раздобудем!

– А мы-то как? Здесь сидеть должны?

– Придется, ничего не поделаешь!..

– Ай, мамушка! – тихо вскрикнула слышавшая весь этот разговор Ганночка. – Да неужели же среди лесу останемся?.. Страшно-то как!

– Не бойся, глупенькая, не бойся! – поспешила успокоить свою питомицу старуха, хотя и сама-то не на шутку струхнула. – Ежели и придется, так не одни будем... Вон сколько народа... Да и страшного ничего нет! Столько времени ехали, все Бог миловал, и теперь все ладно обойдется. Не пешком же тебе идти, да и то неведомо куда... А что, Гаврилка, – опять высунулась старуха из окна, – может, какая ни на есть деревня близко?

– А кто ее знает, – лениво ответил холоп, – нам эта сторона совсем неведома... Мы здесь чужедальние...

Он медленно побрел от возка к кучке товарищей, совещающихся на дороге впереди поезда.

– Нет, видно, ничего тут иного не придумаешь, как поехать вперед да поискать, нет ли жилья какого...

– Видно, что так, – согласились некоторые с этим мнением, – лошади поотдохнут; экую ведь путину без подставы с утра сломали...

– А есть ли какое жилье впереди-то поблизости? – любопытствовал один из кучеров. – Может, тот, кто поедет, даром проплутает только...

– Так не назад же ехать! – раздалось возражения. – Вперед хоть что-нибудь, хоть избенка какая ни на есть попадется, а назад чего искать? Последнее жилье в полдень видели; почитай, верст двадцать назад переть придется, да потом опять сюда столько же...

– Вестимо вперед, – поддержал мнение большинства старший из холопов-вершников, на котором лежала вся ответственность перед Семеном Федоровичем Грушецким за благополучие в пути. – Да постой, ребята, – воскликнул он, – вон чего-то Федюшка бежит... колпаком машет и орет что-то... беги, милый, беги сюда скорей!

По дороге, плохо наезженной и ухабистой, бежал подросток, действительно спешивший к старшим с какими-то вестями.

– Эй, дяденька, – кричал он, – тут и опушка близко, а дальше поле идет, да такое, что глазом не окинешь...

– Ну, вона чем утешил! – недовольно проворчал старик. – С такими вестями и бежать сломя голову не стоило!

– Да погоди, дяденька, не все еще сказал, – прервал его Федор. – На опушке-то изобка стоит, а в изобке кто-то живет, дым курится...

– А-а, вот это – дело! – заволновались челядинцы. – Молодец, Федюшка! Боярышню нашу, красавицу писаную, к теплу пристроить можно... Все не под небесами ждать ей придется.

Ганночку все близкие к ней и ее отцу – вся челядь, вся дворня – любили. Ко всем была ласкова молодая девушка, для всех находилось у нее доброе слово, и ради этого все были готовы пойти за свою любимицу не только в огонь, но и в самое пекло.

Поэтому и теперь известие, принесенное Федюшкой, обрадовало всех этих людей, сильно встревоженных тем, что любимицу-боярышню на время поисков подмоги пришлось бы оставить в возке неизвестно на сколько времени.

– И хвалить, дяденька, не нужно, – рассыпался Федюшка, – что приметил, то и говорю...

– За то хвалят, что догадлив ты, парень, вот что! – высказал новую похвалу старик. – Мы вот тут на одном месте топчемся, а ты, недолго думая, слетал, осмотрел все и нас на новые мысли наводишь.

– Да ты что там, Серега, балясы точишь? – раздался со стороны возка сердитый оклик старухи-мамки. – Ты бы лучше дело делал, а наговориться и после успеешь... Ежели есть поблизости какое ни на есть жилье, так Ганночка да я и пешком туда доберемся...

Мамка и Ганночка, слышавшие радостные крики, сами выбрались из возка и теперь подходили к кучке холопов. Те почтительно расступились перед дочерью своего господина.

– Ты, матушка, – заговорил старик Сергей, обращаясь к девушке, – повременила бы малость; спервоначалу посмотреть нужно, кто в изобке той живет.

– Кто? Уж, верно, крещеные, – затараторила старуха, – в этой стороне о нехристях и не слышно... И не изволь, Серега, препираться! Проводи-ка нас с Ганночкой вперед, все сразу и посмотрим, как и что! Идем, что ли, голубка моя сизокрылая? – обратилась она к девушке, теперь уже не чувствовавшей страха, а даже радовавшейся этому небольшому дорожному приключению, доставившему ей возможность поразмять ноги прогулкой по лесу. – Идем, милая, скорей! – добавила мамка и первая побежала вперед.

Холопам оставалось только повиноваться, и все вершники, ведя на поводу коней, последовали за боярышней.

Идти им пришлось недалеко, немного более полуверсты, и, пройдя эту недолгую дорогу, путники очутились перед небольшой, но весьма ладной на вид избушкой, стоявшей действительно на краю огромного, только что пройденного поездом леса, перед необозримым пустынным полем.

Едва они подошли к низенькому крылечку, как двери сеней растворились и на крыльце появилась высокая, далеко еще не старая женщина, удивленно смотревшая на подходивших.

Одета она была в крестьянский тулуп, а ее голову покрывал редкий тогда в России шалевый турецкий платок, из-под которого выбивались пряди непокорных черных волос.

III. Таинственное жильё

Женщина ни слова не произнесла даже тогда, когда подходившие путники были совсем близко от нее, и лишь с любопытством смотрела на них, в особенности на закутанных с ног до головы женщин.

Ганночка тоже глядела на незнакомку из-под платка, глядела с восхищением – такую красавицу показалась она ей. Но глаза этой молчаливой женщины были особенные. Их взгляд, казалось, обладал каким-то невидимым острием и так и впивался в того, на кого был устремлен. По крайней мере молодая девушка почувствовала себя как-то неловко, когда женщина на крыльце вдруг уставилась на нее. Ее взгляд словно жег Грушецкую, и она, не в силах вынести его, невольно потупилась и в то же мгновение услышала, что глядевшая с крыльца женщина засмеялась.

Должно быть, и старуха-мамка тоже почувствовала некоторую неловкость. Она громко запыхтела, закричала и воскликнула:

– Тьфу, тьфу, тьфу, чур меня, чур! Что за ведьма явилась? Сгинь, сгинь, рассыпья, ежели ты не от мира сего.

Но это не подействовало. Женщина на крыльце продолжала смотреть своими огромными лучистыми глазами на путников, как будто дожидалась, чтобы кто-нибудь из них заговорил с нею.

Однако, когда старый Серега, почтительно сбросив с головы колпак, начал спрашивать, нельзя ли побыть в доме боярышне с мамкою, а на задворках приткнуться их обозу, пока не будет починено сломавшееся полозье, незнакомка, внимательно выслушав его, вдруг громко-громко расхохоталась и кинулась назад к крылечным дверям.

Это было так неожиданно, что путники даже и не заметили, как она исчезла, и только расслышали громкое хлопанье двери.

– Наваждение дьявольское! – так и взбеленилась старушка-мамка. – И впрямь ведьма! Или просто ума рехнулась?..

– Постой, мамушка, – серьезно и даже несколько строго остановил ее Сергей, – может, она кого другого вышлет к нам. Чего ерепениться раньше времени? Ведь худа она нам никакого не сделала, а ежели хохочет, так пусть себе на здоровье, должно, что глупенькая.

– Уж глупенькая там или умненькая, – не унималась старушка, – а негоже боярышне здесь оставаться... Может, тут воровской притон...

– Гоже или негоже, – опять серьезно сказал старик, – а придется остаться, ежели идти больше некуда. А насчет воров тоже бояться нечего: нас немало, да и не с голыми руками мы... А-а-а, вот еще кого-то Бог дает.

Дверь на крыльце опять распахнулась, и путники увидали на нем безобразную старуху, выпорхнувшую перед ними так же неожиданно, как неожиданно скрылась молодая женщина.

Эта старуха была действительно безобразна. Ее лицо было темно, почти черно; длинный нос, слегка загнувшийся крючком, придавал ей вид хищной птицы. На ней был ярко-красный, совсем не по-русски, концами назад, повязанный платок, а на плечах накинута суконная, с громадными медными пуговицами безрукавка, тоже невиданного в то время на Руси покроя.

– Ведьма, совсем ведьма, – закричала неугомонная мамушка и начала торопливо креститься. – Идем, Агашенька, назад, не место нам тут!

– Молчи, божья старушка! – уже сердито крикнул Серега и, смело поднявшись на крыльцо, вступил в объяснение.

Ганночка тоже испугалась, когда увидела эту безобразную женщину, но ее испуг быстро сменился любопытством; притом же и подвечерний холодок давал себя знать, и девушке хотелось забраться в тепло, сбросить тяжелые меховые одежды, растянуться на лежанке и отдаться

сладкой неге и дремоте. По лицу Сергея она видела, что переговоры идут вполне удовлетворительно, и радостно заметила, что старый преданный челядинец наконец махнул им колпаком, приглашая этим подняться на крыльцо.

– Ну идем, что ли, Агашенька, – недовольно проворчала мамка. – Делать нечего – и впрямь, куда деваться, ежели другого приюта нет. Только ежели что, так Серега и будет в ответе, а не я...

Старушка, тоже прозябшая и в душе очень довольная, что есть возможность побыть в тепле, смело вошла первой на крыльцо. Ганночка последовала за нею; позади них пошли сопровождавшие их вершники, любопытство которых тоже было пробуждено этим таинственным жилищем и этими таинственными женщинами.

– Не бойся, мамушка, ничего, – шепнул старушке Серега, когда та была на крыльце, – живет тут туркиня одна, полонянка – это молодая-то, а старуха при ней – вот как ты при боярышне. Они одни и живут и добрым гостям обрадовались...

– Ну-ну! – проворчала старуха. – Уж и как бы они не обрадовались? Ведь, чай, не простые смерды к ним припожаловали, а воеводская дочь.

Путники стояли уже в обширных сенях таинственного дома. Было темно, но уже чувствовалась живительная теплота. Но вот наконец распахнулась какая-то невидимая среди тьмы дверь, и сразу просветлело. На пороге стояла прежняя старуха и жестами звала гостей идти за нею. Окончательно набравшаяся храбрости мамушка, ухватив Ганночку за руку, двинулась вперед, все-таки крикнув:

– Серега, не отставай!

Перешагнув порог, все трое очутились в просторной горнице с большими, опять-таки необычными для русских жилищ того времени окнами. Стены горницы были увешены роскошными персидскими коврами, а ее меблировка тоже была необычная для русских: преобладали низенькие мягкие тахты и только в одном углу стояли русские широкие скамьи да большой стол, покрытый золототканой скатертью.

За столом, когда в комнату вошла Ганночка с мамкой, сидел молодой человек в русском кафтане, богатом, нарядном «и свидетельствовавшем, что этот человек был не какой-нибудь простец. Ганночка, входя, уже бросила мимолетный взгляд на него, и этот молодец за столом показался ей прямо-таки красавцем. Да и в самом деле он был очень красив, но общее выражение его лица было какое-то мрачное – не злобное, а именно мрачное, суровое, и это портило впечатление, производимое и его правильными, словно точеными чертами лица, и глубокими черными, то и дело поблескивавшими глазами. Когда Ганночка взглянула на него еще раз попристальнее, то он уже не понравился ей, и какой-то смутный страх, как предвестник будущих невзгод, вдруг проник в ее душу.

IV. Неведомый хозяин

Молодой человек с любопытством смотрел на вошедших.

Так прошло несколько мгновений. Наконец хозяин словно спохватился, что не приветствовал гостей, и, приподнявшись на скамье, несколько сиплым голосом, сопровождая свои слова легким наклоном головы, сказал:

– Добро пожаловать! Чьи вы будете, не знаю того, но везде у нас на Руси гость в дому – дар Божий. Разоблачайтесь, да обогрейтесь с холода-то!..

Мамка словно ждала этого обращения.

– Спасибо на ласковом слове, добрый молодец, – затараторила она. – Чей ты, того и я не знаю, хотя по кафтану вижу, что не простого ты рода. А мы все будем вот ейного, – указала она на Ганночку, – батюшки: государева чернавского воеводы Симеона Федоровича. Чай, слышал про него?

Глаза молодого человека так и сверкнули недобрым огнем, когда он услышал слова мамки.

– Это Грушецкого, что ли, по прозвищу? – глухо и с оттенком злобы в голосе вымолвил он. – Как же не знать? Знаю! Новый он у нас человек, а знакомы мы... Все друг друга ищем, да найти никак не можем! – и вдруг, как бы спохватившись, что сказал лишнее, он сразу замолк.

– Ежели знакомцы вы с Симеоном Федоровичем, – воспользовалась этим перерывом старушка, – так еще того лучше! Уж будь покоен: Симеон-то Федорович за твою услугу в долгу перед тобой не останется и сторицей отблагодарит.

Молодой незнакомец при этих словах старушки заметно усмехнулся.

Та увидела эту усмешку и рассердилась:

– Негоже смеяться-то, господин, – заговорила она, – ежели люди в беде и помощи просят!.. Сам же ты сказать изволил, что гость в дому – дар Божий, а и сам ты слышал, что не простые мы люди; так по чести ты и гостей таких принимать должен... Не хочешь – твоя воля, уйдем...

– Нет, бабушка, нет! – спохватился молодой хозяин. – Оставайтесь, сколько вам надобно. Тут у меня бабы есть, так они вам помогут – напоят, накормят, а захотите – так и спать на вытопленную лежанку положат. Не русского они у меня теста, а добрые... Из персидской земли вывезены, по-нашему, почитай, и не говорят, ну, да это ничего – уж вы-то промеж себя столкуетесь. А я сейчас выйду, посмотрю, нельзя ли чем-либо вашему горю пособить... Это вашего дома холоп, что ли? Ну, выйдем, старый, как тебя там! – обратился он к Сергею и, сейчас же, захлопав в ладоши, громко выкрикнул: – Зюлейка! Ася!

На этот зов из соседнего покоя выбежали и старуха, и молодая женщина, первые встретившие нежданных гостей на крыльце. Ганночка заметила, с каким любопытством оглядела ее с ног до головы молодая, и ей показалось теперь, что во взгляде этих больших черных глаз светились не то испуг, не то жалость.

Старуха не обращала никакого внимания на пришельцев; она даже не кинула на них взгляда, а подобострастно, совсем по-собачьи, смотрела на своего господина, выжидая его приказаний.

Тот заговорил с нею повелительно на каком-то непонятном языке.

– Ну, боярышня, – ласково, заметно стараясь смягчить свой грубый, сиплый голос, обратился он затем к Ганночке: – прости, ежели не понравилось тебе что... Уйду я от вас, отдохните, а как вернусь – обо всем переговорим толком. Симеон-то Федорович во всей округе дочкой своей хвастается! Умница-разумница, баит, другой такой и не найти... Рад, что судьба нас с тобою свела. Может, и к добру, а может быть... – Он оборвался и через мгновение глухо закончил: – Может быть, для кого-нибудь и к худу.

Ганночка вся так и вздрогнула, услышав эти слова.

Она была бойкая, развитая не по своему времени девушка и хотела было сама заговорить, нисколько не смущаясь тем, что впервые видит этого молодого красавца, но не успела. Хозяин отвесил ей почтительно низкий поясной поклон и большими шагами пошел к дверям, не обратив внимания на няньку.

– Ну, идем, что ли! – крикнул он на ходу Сергею. Женщины остались одни.

Как только затворилась дверь, молодая кинулась к Ганночке и, что-то лепеча на непонятном для девушки языке, быстро начала распутывать ее. Когда платок был скинут, молодая персиянка, увидав лицо Ганночки, даже вскрикнула от восторга и с пылкостью южанки осыпала девушку бесчисленными поцелуями. В ее лепете слышались уже и русские слова, которые она произносила, утомительно коверкая их. Но уже и это было хорошо. Кое-как Ганночка могла понять, что хотела выразить ей это дитя далекого Ирана, так пылко целовавшее ее и не скрывавшее перед ней своего восторга.

– О хороша, хороша! – воскликнула персиянка. – Я тебя полюбила, я буду твоей сестрой и стану защищать тебя. Хочешь ты быть моей сестрой?

– Хочу! – ответила Ганночка, сразу же покоренная этою ласкою.

– И будешь, и будешь! – захлопала в ладоши персиянка. – Я – Зюлейка, да, я Зюлейка, – ударяя себя в грудь, прибавила она, – а ты? Как зовут тебя?

– Ганна...

– Ганна! – протянула Зюлейка и несколько раз подряд повторила: – Ганна, Ганна! Какое имя!.. У нас так не называют девушек. Но вы – другой народ, совсем другой... Так Ганна! Теперь я буду помнить, как тебя зовут. Ты не бойся, я всегда буду около тебя... О-о, как я ненавижу его! – вдруг с пылкой злобностью воскликнула Зюлейка и даже сжала кулачки.

– Кого? – встревоженно спросила Ганночка, которой были совершенно чужды такие быстрые смены душевных настроений, – кого ты ненавидишь?

– Его, который ушел... князя...

– Князя? – вмешалась в разговор мамка. – Да нешто это – князь?

– Да, да! – закивала головой Зюлейка, – большой князь... могучий... все может, все!.. Он много зла творит, ой много, и никого не боится...

– Ой святители! – взвизгнула мамка, услышавши эти слова. – Да куда же занесло-то нас?.. Уж не к злодеям ли окаянным попали?

Старушка уже успела с помощью безобразной персиянки снять верхние одежды. Тепло сразу растомило ее, и она с ужасом думала, что вот-вот придется одеваться снова и снова идти на холод.

– Оставь, мамушка, – перебила ее причитания Ганночка, и в ее голосе на этот раз даже слышалась строгость. – Слышала ты, чай, что вот Зюлейка говорит: князь – этот добрый молодец, не простец, не смерд, а государев слуга. Так злого на нас он не умыслит. Притом же он знает и про батюшку... Будь, родная, покойна! Побудем здесь, пока полозье поправят, а там и опять с Богом в путь-дорогу.

Зюлейка, слушая эти полные бодрости слова, радостно кивала головой и хлопала в ладоши.

V. Наследственная обида

Старый Серега покорно следовал за молодым красавцем-князем, хотя его сердце было далеко не спокойно. Старик нюхом чувствовал опасность: хотя вокруг него не было заметно ничего угрожающего, но ему сильно не нравился этот заносчиво-дерзкий, надменный молодец, смотревший на все вызывающе, нагло, так нагло, как будто на него во всем московском государстве и управы не было.

Еще более смутился старик, когда приметил, что хозяин ведет его не в сенцы, откуда были двери на крыльцо, а куда-то в глубь таинственного жилья.

– Позволь, батюшка, слово спросить, – наконец не выдержал Сергей. – Куда же ты меня теперь ведешь? Ведь наши возки там у ворот приткнулись, и мне у моих людей место...

Князь глухо засмеялся, а затем грубо сказал:

– Поспеешь еще к своим, старый сыч, допреж этого должен ты мне ответ держать.

– Уж на чем – и не знаю, – недоуменно развел руками Сергей, – кажись, ни в чем перед твоею милостью не провинился.

– Иди, иди! – крикнул в ответ князь и, сам распахнув двери, слегка толкнул в них Сергея.

Они очутились в просторной горнице, светлой днем, а теперь поверженной в сумеречные тени. Ее стены были увешаны тяжелыми медвежьими шкурами, среди которых эффектно выделялись громадные кабаньи головы с оскаленными клыками. Под ними были навешаны рушницы, самопалы, мечи и кинжалы в ножнах с роскошной оправой. Широкие лавки вдоль стен также были покрыты звериными шкурами; в углах стояли светцы, а на столах – жбаны, кубки и чаши, форма которых была заимствована из Немецкой слободы и сделана по-новому – в виде длинных, высоких, на тоненькой ножке стаканов.

– Ну, стань, старый хрыч, вот здесь, – указал хозяин Сергею место против стола, за который он уселся сам, сейчас же небрежно развалившись на широкой лавке. – Отвечай, как попу на духу, и не моги соврать... Солжешь, худо будет.

Произнося эту угрозу, князь так сверкнул глазами, что по спине бедного Сергея мурашки забегали.

– Воля твоя, батюшка, – с заметной дрожью в голосе проговорил он, – а ежели я ничего дурного не сделал, не тать я ночной, не вор государев разбойный, так и таить мне нечего... Ехали мы к господину нашему Симеону Федоровичу в Чернавск, никого по пути не обижая.

– Довольно! – перебил его хозяин. – Ты давно у Сеньки-вора Грушецкого в холопах?..

Старик встрепенулся. Новая грубость этого приютившего их человека обидела его до глубины души.

– Кто ты, батюшка, будешь, то мне неизвестно, – с достоинством ответил он, – а господин мой Симеон Федорович своему царю-государю не вор, а от его царского величества службою пожалован. Ты же вот в лесной трущобе живешь и – кто тебя знает – может, у лесных душегубов атаманствуешь. Мало ли кто теперь лихими делами промышляет!

Старый холоп проговорил все это медленно, твердо, не спуская взора с обидчика.

– А ежели про меня тебе узнать желательно, – продолжал он, – так я тебе скажу, что я батюшке господина моего теперешнего с малолетства служил, ребеночком махоньким, несмышленочком его помню, и на смертном ложе обряжал его, и в гроб клал, и в могилу опускал, а теперь верую и правдою, не за страх, а за совесть, его сыну служу и чести его в обиду не дам.

– Замолчи! – громко и грозно вскрикнул молодой князь. – Не для того я тебя призвал, чтобы твои песни слушать. Ежели ты вору Федьке Грушецкому служил, так и на Москве с ним был до того, пока его царь-государь от себя на вотчину отослал?

– Был.

– Неотлучно?

– Может, и отлучался, того не припомню...

– А князя Агадар-Ковранского помнишь? – яростно закричал молодой человек и так стукнул кулаком по столу, что стоявшая на нем посуда ходнем заходила. – Помнишь, как он царем вору Федьке головою был выдан? Помнишь, а?

Голос молодого человека переходил в бешеный крик. Его лицо покраснело, и на лбу показались капли холодного пота, белки глаз налились кровью, он весь так и трясся от охватившей его ярости.

Очевидно, это была чрезвычайно пылкая, страстная, быстро подчинявшаяся впечатлениям натура, которая во всем предпочитала крайности и не признавала уравнивающей их золотой середины.

В свою очередь припомнил и Серега то, о чем говорил молодой князь.

Это было уже давно; десятки лет уже прошли, а старик при первом же воспоминании увидел перед своими глазами, как живого, высокого, с нерусским лицом старика в пышных боярских одеждах, приведенного по царскому велению на их двор «для бесчестья». Гордый, надменный стоял он, этот старик, потомок древнего рода прикаспийских властителей, у крыльца своего врага и молча, без слов выслушивал сыпавшийся на него град ядовитых насмешек, в которых поссорившийся с ним Федор Грушецкий отводил свою душу за нанесенную ему обиду. Смутно припомнил теперь Серега, что старики поссорились «из-за мест» у царского стола. Сел Агадар-Ковранский выше Грушецкого и места своего ни за что не хотел уступить сопернику, а тот шум поднял и о бесчестье кричал. Агадар-Ковранский в долгу не остался и всяким воровством Грушецкого корить начал, каждое дарение припомнил, которое получил Федор Грушецкий, когда на воеводстве был. Такой тогда шум в столовом покое спорщики подняли, что повелел им великий государь обоим вон выйти. Но они и тут не унялись: на крыльце потасовку завели, Агадар-Ковранский Грушецкого за бороду таскал, всю так и вырвал бы, если бы их боярские дети да дворцовые дворяне не развели. А потом царь великий сам разобрал все это дело, и вышло, что не Агадар-Ковранский, а Грушецкий прав. И выдан тогда был обидчик головою обиженному.

Видел Серега гордого князя теперь, как живого. Стоит он у крыльца, не шелохнется, только так огнями глаза и взблескивают да рука сама к поясу по привычке тянется. Хорошо, что нож у него отобрали, а то затуманила бы пылкая южная кровь голову и кончилось бы «бесчестье» смертоубийством.

Только кто же этот молодец? С лица как будто похож на Агадар-Ковранского: те же сверкающие из-под тонких, точно вычерненных бровей очи, та же осанка – гордая, властная, та же пылкость без удержу; да и с голоса он похож: говорит глухо, как будто слова откуда-то изнутри вылетают.

– Ну что, – услышал Серега новый вопрос, – припомнил ли?

– Прости, батюшка, – тихо ответил старик, – господа спорят, так не нам, холопам, разбирать, кто из них прав, кто нет... Не наше это дело холопское! Да и кто ты такой, не ведаю. С чего ты старую свару поднимать вздумал?

– А с того, – так и загремел молодой князь, – что тот Агадар-Ковранский мой дед был, и его позор мне до сих пор душу жжет; как вспомню, так все равно что полымем охватит. И вот теперь сама судьба привела меня старый долг сторицей заплатить. Неспроста, видно, внука Федьки в мои хоромы залетела: судьба нанесла ее ко мне. Ха-ха-ха! Умница-разумница, золото, а не девка... Вот посмотрю я, как она у меня запляшет... Вдоволь натешусь, а там будь что будет... Эй, кто там! – И молодой человек громко захлопал в ладоши.

VI. От гнева к гневу

Старый Серега был далеко не труслив и видал на своем веку всякие виды, но так и вздрогнул, услышав это призывное хлопанье в ладоши. Он теперь уже не предчувствовал, а видел беду и страшился – правда, не за себя, а за свою ненаглядную боярышню, доверенную его попечениям.

– Батюшка князь! – сдавленным голосом выкрикнул он. – Что ты задумал?

– А вот сам, коли поживешь, увидишь! – загадочно усмехнулся Агадар-Ковранский.

– Смотри, Господь тебя накажет! – снова крикнул окончательно терявший голову старый холоп. – Он-то все видит...

– Накажет? За что? – опять зло и загадочно усмехнулся молодой человек.

– Ежели ты что-либо злое против боярышни Агафьи Семеновны задумал... Гостья она твоя, твоей чести княжеской доверилась... И думать не могли мы, что к разбойнику-атаману попали.

– Молчи! – весь багровея, выкрикнул Агадар-Ковранский. – Молчи, или я тебе сейчас глотку заткну!

Он злобно сверкнул глазами и схватился за рукоять заткнутого за пояс ножа; но в это мгновение в покое, из-за дверей, завешенных тяжелой медвежьей шкурой, бесшумно появились двое людей с нерусскими лицами, скулы и узкие, словно прорезанные щели, глаза выдавали их восточное происхождение.

Оба были высоки ростом, широки в плечах и, очевидно, обладали громадной физической силой. Они смотрели на князя таким же подобострастно-собачьим взглядом, каким смотрела на него и старуха Ася, приставленная к красавице Зюлейке. Ясно было, что достаточно взгляда повелителя, чтобы эти преданные рабы без рассуждений исполнили всякое, даже самое ужасное дело.

– Болтает холопий язык без разумения, – проговорил князь, видимо сдержав страшным усилием воли свой гнев, – все вы, псы потрясучие, на один лад... Гассан, Мегмет! – обратился он к своим приспешникам. – Возьмите этого сыча, угостите его вместе с другими холопами на славу... так угостите, чтобы долго, всю жизнь помнил наше гостеприимство!

Дольше он не мог сдерживать клокотавшие в нем ярость и гнев и разразился неестественным, скорее всего, истерическим смехом, быстро перешедшим в неистовый хохот.

– Ну, пойдем, душа моя, – проговорил Гассан, кладя руку на плечо Сергея, – ты иди, иди себе, не бойся ничего: наш господин куда какой добрый... Он тебя угостить велел... Иди же, а то другие-то твои, куда пить лихи, выпьют все, съедят все, и тебе, душа моя, ничего не останется...

– Иди, иди, – слегка подтолкнул старика и Мегмет, – а то господин осерчает, тогда худо будет.

Сергей понимал, что сопротивление с его стороны было бы бесполезно.

– Князь! – торжественно проговорил он. – Помни: Господь не попускает злу и наказывает обидчика...

– Иди прочь! С глаз долой! – закричал и затопал ногами Агадар-Ковранский. – Вы что, – сжал он кулаки на своих слуг, – чего еще язык чесать даете!

В одно мгновение Сергей, словно вихрем выброшенный, очутился за дверью в другом покое.

– Ну, какой ты, душа моя! – укоризненно покачивая головой, проговорил Мегмет. – Ну зачем тебе господина нашего гневить?.. Ведь никто с тебя шкуры еще не спускает...

– В вашей я воле, – тихо и печально проговорил старик, – делайте что хотите, ежели креста на вас нет...

Гассан и Мегмет, перемигнувшись между собою, громко захохотали.

– Смейтесь, смейтесь! – воскликнул Сергей, которого морозом по коже подralo от этого хохота. – На том свете за все про все рассчитаетесь...

Его возбуждение пропало, отчаяние уже овладело им. Старик не видел выхода из создавшегося ужасного положения и машинально передвигал ноги, следуя за своими проводниками, все время пересмеивавшимися и весело болтавшими на непонятном ему наречии.

Но каково же было его изумление – он даже рот с диву разинул и глаза выпучил, – когда после нескольких переходов открылась дверь в длинный просторный покой, очевидно бывший людскою в этом странном доме, и там он за столами, уставленными всякими яствами – окороками, пирогами, мисками с варевом и жбанам с питьями – увидел кучеров своего поезда, двух горничных девок боярышни и мальчугана Федьку, нашедшего это таинственное жилье. С ними были еще незнакомые Сергею люди, очевидно слуги князя Агадар-Ковранского. Все они весело и беззаботно угощались, на их лицах не было заметно никаких признаков страха. Из челядинцев Грушецкого не хватало только троих вершников. Сергей сразу приметил это, но его удивление было так велико, так сильно, что он на первых порах и слова выговорить не мог.

Между тем челядинцы Грушецкого заметили своего набольшего.

– Эй, дядя Сергей, Серега, кум Сергей, – закричали все они разом, – вот и ты, живые мощи, явился... Куда запропал?.. Ишь, как князьенька здешний – дай ему Бог всякого здоровья! – угощает...

– Садись, душа моя, садись скорее за стол! – слегка и даже дружелюбно подтолкнул в бок старика Гассан, – будь гостем!..

Сергей все еще нерешительно приблизился к столу. Сидевшие на скамьях пораздвинулись, очищая ему место.

«Уж не во сне ли я все это вижу? – подумал старик, опускаясь на скамью. – Может, и в самом деле я понапрасну князя изобидел, может, никакой беде и не бывать?.. А ежели так, то с чего же он, как ерш, ерепенился?»

Однако сердце старого холопа ныло, предчувствия не оставляли его, но он понимал, что в такой обстановке невозможно было выражать подозрения.

А между тем мрачные предчувствия отнюдь не обманывали старого холопа.

Князь Василий Лукич, оставшись один в своем покое, забегал по нему, как бегают разъяренный зверь по своей клетке. В его душе так и ревела буря, думы и мысли в его распаленном мозгу словно вихрем крутило и рвало. Горячая южная кровь так и бурлила, кидаясь в голову, туманя ее до того, что князь видел ясно созданные воображением образы.

Дедовское оскорбление, так и оставшееся в наследство внуку неотмщенным, всегда сушило князя Агадара, всегда давило страшной тяжестью его гордую душу, и теперь сама судьба как бы посылала ему полную возможность отместить так, как могло подсказать только болезненное, распаленное воображение.

Пылкий князь уже теперь начинал чувствовать сладость мести. Ему до жуткости сладко было представлять себе, как он будет утолять свою ярость. Он не торопился, а как тигр, уже захвативший жертву, отдалял решительный миг, наслаждаясь пока тем, что создавал его мозг. По временам из груди князя вырывался дикий хохот, мрачный и грозный. Только почувствовав усталость, он грузно опустился на скамью и, громко свистнув, захлопал в ладоши. На этот зов сейчас же явилась старая безобразная Ася. Грозно нахмутив брови, заговорил с ней князь Василий на понятном только им одним восточном наречии. Старуха слушала его, то и дело кланяясь.

– А теперь проводи меня к Зюлейкину покою, – уже по-русски крикнул Агадар, покончив с приказаниями, – я хочу видеть ее... да, видеть, но так, чтобы она меня не заметила...

Ася снова в знак повиновения склонила голову, приложив ко лбу руку. Потом она тихо, по-кошачьи, шмыгнула вперед. Князь последовал за нею.

Покои Зюлейки были отделены от комнаты князя длинным переходом, в конце которого была также завешенная звериной шкурой дверь.

Слегка приподняв эту своеобразную портьеру, Василий Лукич заглянул внутрь покоя. Ганночка сидела на скамье у окна рядом с нежно обнявшей ее Зюлейкой. В глубине покоя у лежанки дремала, облокотившись на нее, мамка.

– Как хороша! Ангел небесный! – невольно вырвался у князя Василия восторженный лепет. – Как хороша! – Но на его губах так и зазмеилась нехорошая, злобная улыбка. – Пусть, пусть! Слаще будет моя месть... Да, судьба отдает мне эту красавицу...

VII. Лесное логово

Должно быть, Ганночка почувствовала на себе чужой горящий взор. Она забеспокоилась, зашевелилась и даже привстала со своего места. Князь Василий сейчас же отпрянул прочь и, схватив Асю за руку, потащил ее за собою назад...

– Смотри, ведьма, – прерывисто крикнул он, – чтобы все было исполнено, как я приказал... Весь твой поганый дух вышибу, ежели слукавишь, а теперь убирайся, вернись ночью!.. Чтобы у тебя все было готово... Вон!

Ася бесшумно, как тень, скрылась.

– Эй, Гассан, – закричал и захлопал в ладоши Агадар, – коня!

– Прикажешь мне быть с тобой, господин, – спросил появившийся на зов словно из-под земли Гассан.

– К дьяволу на рога! – закричал на него Агадар. – Один на усадьбу еду!.. У вас здесь свое дело... Что наезжие холопы?

– Угощаются по-твоему велению, господин, – было ответом, – все исполнено, как ты приказал...

– То-то! Чтобы к ночи все они замертво перепоены были... Сонного порошка в брагу подсыпь, но чтобы все они пластом лежали, когда я вернусь... Запору, жилы вытяну, ежели что не так будет...

– Будь спокоен, господин! – ответил Гассан. – Верою и правдою мы тебе всегда служили и теперь послужим. Не наше дело – раздумывать, что зачем; что ты приказываешь, должно нам исполнять, не прекословя.

По виду Гассан был совершенно спокоен, но его узкие глаза так и бегали из стороны в сторону. Видно было, что его душа далеко не была так спокойна, как лицо.

– Все, господин, будет исполнено, все! – повторил он еще раз, – за это я отвечаю тебе!..

Эти слова были сказаны уже вдогонку Агадар-Ковранскому, быстро вышедшему из покоя. Гассан так ловко шмыгнул, что очутился впереди своего повелителя, и, когда князь вышел на крыльцо, здесь уже ожидал его великолепный горячий конь, которого еле-еле могли сдержать под уздцы двое дюжих конюхов монгольского типа.

Князь легко и лихо вскочил на седло. По всему было видно, что он – превосходный наездник. Очутившись в седле, князь огрел коня плетью по крутым бедрам. Тот, храпя и дико озираясь налитыми кровью глазами, взвился было на дыбы, стараясь сбросить с себя всадника, но напрасно: князь Василий словно прирос к седлу, и град ударов нагайкой заставил смириться могучее животное перед человеком. Конь опустил передние ноги и рванулся вперед. Как раз в это мгновение князь дико гикнул, взвизгнул, и испуганный конь вихрем помчался вперед, роняя на белый снег клубья багрово-красной пены. Все это заняло минуты полторы, не более. Трудно было заметить, как скрылся князь за поворотом дороги, – так быстро унес его конь. Конюхи и Гассан стояли на крыльце как очарованные.

– Лихо, шайтан его пополам разорви! – пробормотал один из них, приходя наконец в себя.

– И вот постоянно он так-то, – ответил другой, – столько в нем силы да удали молодецкой, что и размыкать где их не знает...

Гассан, слыша эти слова, вздохнул полной грудью и тихо, с явным сожалением в тоне голоса, произнес:

– В степи бы родимые вернуться ему! Там простор по нему, а здесь, в Москве, он – что орел в клетке. А кровь дедовская так вот и играет... Эй, да что... Воля Аллаха такова, и против нее не пойдешь... Идем, что ли, к гостям-то?.. Поди, заскучали без нас!

Он повернулся и побрел в дом.

У дверей в сени Гассан остановился и как-то нехотя сказал:

– Не по сердцу мне затея господина нашего!

– А что? – недоумевая, спросил следовавший по пятам за ним конюх, – будто зло какое затевает: ишь, угощать велел...

– Ну-у! – Гассан раздумчиво покачал головой, махнул рукой и перешагнул порог.

А в это время князь Василий мчался по наезженной дороге. После нескольких минут бешеной скачки он свернул в сторону и, сдержав коня, заставил его войти в кустарник, окаймлявший дорогу. За кустарником вилась чуть заметная тропинка, и по ней-то Агадар-Ковранский и направил коня.

Мглистые весенние сумерки уже переходили в ночь. Однако было достаточно светло, когда после довольно далекого пути князь добрался через лес до обширной поляны, со всех сторон окруженной вековыми соснами. Посредине этой поляны стояли богатые – похожие, впрочем, на крепость хоромы, около которых раскинулись разные службы. Это было поместье Василия Лукича.

Каждый устраивается по своему вкусу, и дикость места, должно быть, в совершенстве соответствовала дикой натуре Агадар-Ковранских, этих недавних выходцев из прикаспийских степей. Они как будто хоронились от людей в этой лесной глуши, и все, по крайней мере и князь Василий, и его отец, и дед, жили двойственной жизнью. На Москве, близ царя, они были совсем другими людьми. Там они сдерживали свои порывы и казались не хуже остальных царедворцев, но, попадая из Москвы в свое поместье, сразу же обращались в дикарей; все наносное спало с них, души как будто освобождались от всех внешних покровов, от всего, что сдерживает порывы, и в своем поместье князья Агадар-Ковранские были тиграми в логовищах.

Князь Василий Лукич был последним представителем своего рода. Он был единственным сыном своего отца, уже давно умершего. Матери князь Василий даже не помнил – она умерла, когда он был еще ребенком. Единственной родной душой у него была старуха-тетка по матери, которую он обожал со всею пылкостью своей страстной натуры. Марья Ильинична, так звали тетку князя Василия, вдова незнатного дворянина, воспитала его, сироту. Она заменила ему мать, но не могла справиться с дикостью и пылкостью племянника в детстве, а потом, когда он вошел в зрелые годы, справляться с ним было уже поздно. Все-таки Марья Ильинична была во всем мире единственным существом, которое имело хотя какое-нибудь влияние на буйного, своевольного удалыца. Старушка была уже дряхла и от лет слаба телом, но ее разум был светел и душа чиста от всякого зла и житейской скверны. Она безвыездно жила в лесном поместье племянника и благодаря этому всем, кто был около нее, жилось довольно сносно.

К ней-то и помчался из своего дома на опушке леса князь Василий, чтобы поделиться с нею тою радостью, какую доставила его душе мысль об отмщении за дедовскую обиду.

Неукротимый нрав молодого князя был хорошо известен всей его дворне и челяди. Известна была его жестокость в расправах, и это заставляло всех постоянно быть начеку. Едва только конь вынес Василия Лукича на поляну, как в хоромах уже заметили его, и навстречу кинулись десятки людей. Одни спешили принять коня, другие просто сутились вокруг, третьи рвались, чтобы приложиться к княжеской ручке.

– Государыня-тетушка не легла еще опочивать? – не глядя ни на кого, громко спросил князь, быстро взбегая на крыльцо, и, когда услышал, что Марья Ильинична только что еще повечерять изволила, отдал новое приказание: – Пусть к ней кто-нибудь бежит и доложит, что, дескать, опять Василий прибыл и позволения просит к ней пойти... – Он остался на крыльце, глядя, как усердные конюхи вываживали перед ним коня. – Чтобы через час он у меня в порядке был! – крикнул князь. – Я назад поеду.

В это время бегом возвратившийся холоп доложил ему, что государыня-тетушка Марья Ильинична рада видеть своего племянника и ожидает его.

VIII. Разбушевавшаяся буря

Несколько робея, вошел неукротимый Агадар-Ковранский в покой своей престарелой тетки.

Перед ним, пока он шел по дому, везде распахивались двери, многочисленная челядь и приживальцы – последних у щедрых князей Агадар-Ковранских всегда было множество – отвешивали ему низкие, подобострастные поклоны. Князь Василий не замечал этого.

У дверей тетушкина покоя сидел низенький дряхлый, седой как лунь, со сморщенным в кулачок, похожим на печеное яблоко лицом старикашка, единственный собственный холоп Марьи Ильиничны. Его звали Дротом, хотя крестовое имя у него было совсем другое, но вряд ли он и сам его помнил и откликался только на свою привычную кличку. В качестве не принадлежащего ни к дворне, ни к челяди князей человека, он держал себя самостоятельно и, бывало, не спускал даже князю Василию, и не только перечил ему, но иногда и дерзил, что, впрочем, всегда благополучно сходило ему: так сумело поставить себя в этом логове «диких князей» это беспомощное, бесправное, дряхлое и хилое существо.

И теперь Дрот, хотя и видел подходящего князя, сделал вид, что даже не замечает его. Он не встал с низенькой скамеечки, на которой сидел у дверей, даже головы не поднял, а остался сидеть, как сидел, и вдобавок ко всему замурлыкал себе что-то под нос.

Князь Василий, подойдя почти к порогу, остановился, нерешительно поглядел на Дрота и несколько заискивающим тоном вполголоса выговорил:

– Ну, здравствуй, что ли, старый пес!

Только услышав эти слова, Дрот поднял голову и прошамкал:

– А, это ты, забубенная твоя голова? Каким ветром занесло? Небось носился все эти дни ветром, ветер погоняя, или у своей персидской прелестницы торчал, на некрещеную красу глаза пяля?

Князь Василий промолчал. На него, обыкновенно вспыльчивого, эти грубые слова как будто не произвели впечатления.

– Тетушка-то не легла в постель? – спросил он. – Молитвы на сон грядущий не прочитала?

– Тебя ждет, – опять шамкнул старик, – ты смотри, не гневи тетушку... Ишь, к погоде, надо полагать, что-то занедужилась она.

– Что с ней? – тревожно спросил князь, чувствуя, что его мгновенно охватила боязнь потерять единственное дорогое для него существо. – Дюже немощна?

– Говорю, погоду чует, может статься, оттепель начнется, так и ноют старые кости... Да ты иди, иди, чего растабариваешь попусту? Ведь, поди, ждет она тебя...

– Ну, ин быть так, – даже вздохнул князь Василий, – пойду! – И с этими словами он робко, осторожно отворил дверь в тетушкин покой и перешагнул через порог.

Прямо на него так и пахнуло теплом, лампадной гарью и запахом различных травяных настоек. В покое была полутьма; единственным освещением здесь были огоньки многочисленных лампадок у образов, еще не завешенных на ночь убрусами. Неподалеку от переднего угла в глубоком кресле с высокой резной спинкой сидела сама тетушка Марья Ильинична. В сумраке почти не видно было ее, к тому же она совсем глубоко ушла в кресло, что при ее малом росте и совершенно тщедушной фигурке делало ее совсем незаметной. Но князю Василию незачем было разглядывать ее. Дорогое, сморщенное старушечье лицо всегда было перед его глазами, и теперь он, едва перешагнув порог, радостно крикнул и с распростертыми объятиями кинулся к креслу.

– Тетушка милая, матушка богоданная, – лепетал он, опускаясь на колена и покрывая поцелуями маленькие морщинистые, сухие руки тетки, – прости ты меня, путаника, за то, что я давно у тебя не бывал...

– То-то, – проговорила с лаской в голосе старушка, – забывать ты меня начал, Васенька! Видно, молодое-то к старому не может липнуть...

– Ой тетенька, родимая, – совсем по-детски говорил князь Василий, – да и как же я могу забыть тебя? Ведь один я одинешенек на белом свете и одна ты у меня кровиночка родимая. Те, что на Москве у нас есть, только по имени родные, а истинная-то родная у меня только ты одна...

Он продолжал целовать руки Марьи Ильиничны и теперь – обычно неукротимый сорванец, не знавший удержу в своих порывах, – был совсем другим человеком. И в голосе, и в движениях у него было что-то детское, искренне покорное, отражающее неподдельную любовь, душевную ласку.

Старушку тронуло это обращение племянника. Она ласково положила на его голову руку и сказала:

– Ну, так быть по-твоему: прощаю тебе, ежели ты в чем-либо провинился... Господь да пребудет с тобою вовеки, как мое благословение пребывает с тобою... Говори теперь, что приключилось, зачем в такую позднюю пору летел?

Услыхав этот вопрос, князь Василий вскочил с колен и выпрямился во весь свой рост. Он как бы весь преобразился. На его лице уже не видно было недавнего детски-добротного выражения, оно стало прежним, мрачно-хищным; его глаза сверкали, он дышал так тяжело, что грудь высоко вздымалась.

Старуха зорко следила за своим племянником.

– Ох Василий, – промолвила она, – не люблю я тебя таким-то!

– Не любишь?! – воскликнул тот со страстной пылкостью. – Не любишь, когда я счастлив? Ха-ха-ха! Такое, тетушка, дело мне судьба послала, что, как сделаю его, хоть и умереть не жалко...

– Что? Какое такое дело? Что у тебя, Василий, случилось? – заволновалась Марья Ильинична.

– Доброе дело, тетушка. Такая птичка в мою берлогу залетела, что не знаю, какого бога и благодарить за это! – И он, прерываясь и путаясь в словах и выражениях, рассказал о появлении в его доме боярышни Грушецкой.

Марья Ильинична слушала его с большим вниманием.

– Ну что же, – тихо сказала она, когда князь Василий кончил свой рассказ, – чем худото? Гость в дому – дар Божий.

Агадар-Ковранский злобно расхохотался.

– Слышал я это! – проговорил он сквозь смех.

– И хорошо, ежели слышал, – прервала его старуха, – ежели так, то чего же гогочешь, как жеребец невыезженный? Поди, боярышня-то и годами молода, и собой куда как пригожа?

– Ой, тетушка, как пригожа! – пылко воскликнул князь Василий. – Что ангел небесный!

– Уж и ангел! – усмехнулась старушка. – Вот все-то у вас так! Чуть пригожую девку где увидите, сейчас же и ангел... Видно, защемило сердце-то?

Князь Василий усмехнулся, усмехнулся зло, нехорошо; его красивое лицо так и исказила эта дьявольская усмешка.

– А ты помнишь, тетушка, кто такие Грушецкие? А? Не помнишь? Так я тебе скажу, что мой дедушка, царство ему небесное, вора-деда этой самой Агашеньки Грушецкой за бороду таскал...

– Ну так что же из того? – спросила Марья Ильинична, и в ее голосе послышалась тревога.

– А то, что потом мой дед вору-Грушецкому царем головой был выдан, и тот его срамил и позорил, как хотел...

– Давно то было, Васенька, – печально проговорила старушка, – больно давно!

– Верно, тетушка, давно! Старики-то в земле, поди, сгнили, а вот в моем сердце дедовская обида жива. Мутит она меня, жить мне мешает... Как бываю я на Москве да войду во дворец, так и кажется мне, что все-то там старики на меня с укором смотрят, а молодые прямо так и смеются: ведь дедовская обида неотплаченной осталась, честь не восстановлена, память деда от позора не очищена... Как прослышал я, что Сенька Грушецкий в Чернавске, так с тех пор и покоя мне совсем не стало. Дал я зарок великий при первом же случае с злым ворогом рассчитаться, и вот судьба так-таки прямо на меня его дочку нанесла. Раньше, чем я думал, рок мне счастье послал... У-ух! – дико взвизгнул князь Василий. – Уж я не я буду, ежели теперь своего сердца не утолю... С тем и пришел я к тебе, тетушка родимая, чтобы счастьем своим поделиться. Что скажете мне, мама богоданная?

Ответ последовал не сразу.

Князь Василий стоял перед теткой, мечая на нее огненные взгляды. Он тяжело дышал, страсти так и кипели в его неукротимом сердце.

– Что я тебе скажу, Васенька? – тихо заговорила наконец Марья Ильинична. – А то я скажу, что вижу я, будто негоднее ты задумал. Оставь старые обиды! Ссорились старики, меж них потасовка вышла, они в грехе, они и в ответе; что меж них было, то прошло и быльем поросло; отец твой об этом былье не вспоминал, с чего же ты-то старые дела поднимать из могилы вздумал? Оставь, укротись! В чем повинна перед тобой, а тем паче перед твоим дедом Грушецкая? Ты это мне скажи!

– Ни в чем! – глухо ответил князь Василий.

– Ну вот видишь, а ты ей зло – какое, не ведаю, а догадываться догадываюсь – причинить желаешь! Подумай сам, что ты замыслил! Деда дрались, а внуки рассчитывайся...

– Пусть, пусть! – закричал князь Василий. – Что мне она? Мало ли таких-то у меня перебывало? Одной больше, одной меньше – счета не испортишь... А через нее я Сеньку Грушецкого помучиться да пострадать заставлю, его седую голову навеки позором покрою... Любо мне будет, когда он ужом от муки душевной извиваться будет, узнав, что его дочка единственная к нему покрывкой вернулась... Хороша она, тетушка! Как ангел, говорю, хороша, и Сенька-то поди гадает, что она царицей стать может: ведь царевичу Федору Алексеевичу жениться время пришло, а царь Алексей Михайлович недужится и на ладан дышит; невест собирать будут со всей земли и Агашку Грушецкую на смотр возьмут. То-то позора будет, когда дознаются, что Агашка – покрывка!.. Грязной метлой погонят тогда всех Грушецких с царского двора, и любо будет это моему сердцу: вот когда долг платежом станет красен... Не отговаривай, тетушка, не послушаюсь...

Он оборвался. Старушка вдруг, повинувшись порыву, поднялась с кресла.

– Не смеешь ты худо сделать боярышне Грушецкой, – заговорила она задыхающимся голосом, – твоей чести княжеской доверилась она, войдя в дом твой...

– Судьба ее нанесла! – прервал тетку Василий.

– Молчи, – собрав весь свой голос, выкрикнула та, – молчи и слушай! Вот тебе мой сказ: ежели ты только посягнешь на боярышню, то и не подходи ко мне... прокляну тебя тогда, окаянного, а сама на старости лет возьму Дрота и уйду куда глаза глядят из твоего дома... Пусть я замрзну, пусть меня звери лесные разорвут; это тоже твое дело будет. Я ни малой минуточки не останусь... Прокляну, анафемой будешь!

– Пусть, пусть! – хватаясь руками за голову, не своим голосом закричал князь Василий. – Не могу я жить, пока дедовская обида не отомщена... Как знаешь, делай, государыня-тетушка, убей меня завтра, а эта ночь моя... Завтра я, может быть, сам с собой покончу, ну а теперь...

Прощай, прощай!.. Подойти бы к тебе по-прежнему хотел, да не могу: злой дух во мне, он меня не пускает... Родная, прощай!

Князь горько и бурно зарыдал и выбежал из покоя, оттолкнув подвернувшегося ему под ноги Дрота, так что тот далеко отлетел в угол.

Марья Ильинична бросилась к окну. Внизу у крыльца она увидела при свете смоляных факелов, как князь Василий, выбежав, словно безумный, из хором, вскочил на коня, дико взвизгнул и, нахлестывая своего скакуна нагайкой, исчез, словно злой призрак, в чаще леса.

– Бедная, злосчастная! – едва проговорила старушка и, не будучи в силах справиться с волнением при одной только мысли о том, какая участь ожидает несчастную Ганночку Грушецкую, опустилась без чувств на пол у окна.

IX. Темный умысел

Когда Агадар-Ковранский так бешено умчался из своего лесного домика, там все вдруг повеселели. Люди переменились, разговоры пошли громче, в людской даже кто-то песню затянул... Еще немного – и там, как говорится, «дым коромыслом пошел».

Старый холоп Серега выпил порядочно, но его голова все еще была свежа. Крепок был старик на питье! Старые литовские меда приучили его голову не поддаваться хмелю, да и душа у него в эти часы была все еще настолько неспокойна, что нервное волнение превозмогало опьянение. Серега, как на каменку, лил внутрь себя все, что ему предлагали Гассан и Мегмет, но оставался трезвым.

«И с чего это мне все не по себе? – думалось ему. – Кажись, все благополучно: ишь какое угощение, словно всамделишные гости, а сердце-то так вот тук да тук!»

И чем дальше шло время, тем все более росла тревога старого холопа. Он ясно видел, что угощают их неспроста...

– Пей, душа моя, пей, – то и дело подливал ему в ковш крепкой хмельной браги Гассан, – спать крепче будешь... Ай-ай, какие тебе сны приснятся!.. Молодым себя во сне увидишь, гурий увидишь, целовать их будешь! – И Гассан, лукаво смеясь, дружески толкал старика под бок.

– Да неохота что-то, – отнекивался тот, – довольно уже, премногим благодарны!

– Чего неохота, чего довольно? Пей! Вот как твои-то молодцы стараются...

Действительно спутников Сереги не мучили никакие предчувствия. Они обрадовались возможности выпить и беззаботно пили без всякой думы о будущем. На них хмель действовал. Обе горничные девки крепко спали и так храпели, что их храп был слышен даже среди шумного разговора нетрезвых мужчин. Да и эти-то были совсем близки к тому, чтобы свалиться под стол.

«А что, как нас всех спаивают? – промелькнула мысль у старого холопа. – Ведь похоже на то! Вон и Федюшка совсем посоловел... Ой западня, чувствует это мое сердце! Что делать? Как быть? Ведь беда-то не нам, а боярышне нашей грозит... Ее спасать нужно, но только как?»

Мозг старика, раздраженный и выпитым хмельным, и не отступавшим от него волнением, быстро-быстро заработал. Как-то так случилось, что ни Серега, ни его спутники ни одним словом не обмолвились о вершниках, которых недоставало среди них. Увлечшись изобильным угощением, они просто-напросто позабыли о товарищах, и только теперь Серега вспомнил об отсутствующих.

«Это хорошо, совсем хорошо! – решил он. – Мы-то здесь в западне, а они на свободе остались... Только как мне восточку подать, чтобы стереглись да не попадались?»

И вдруг новая мысль прорезала и осветила в голове старого холопа весь хаос мыслей. Он даже весело улыбнулся, когда его мозг начал работать в том направлении, которое указала внезапно сверкнувшая мысль.

«Была не была, а попробую!» – решил он и, весело подмигнув своему соседу Гассану, заодно выкрикнул: – А и в самом деле, чего кочевряжиться? Все равно раньше утра не выехать, а коли добрый хозяин угощает, грех отказываться... Давай, что ли, татарская твоя образина, выпьем!

– Вот и хорошо, душа моя! – словно обрадовался Гассан. – Пить так пить... Нам вон Коран запрещает, а и то, когда никто не видит, отчего с хорошим человеком не выпить...

– Верно! – ответил холоп. – Во спасение души всегда выпить можно... Наливай, что ли!..

Спустя совсем мало времени, он уже говорил заплетающимся языком всякие несуслазности, то и дело вскидывал на стол локти и примащивался головою на протянутых руках, как бы

одолеваемый дремотой, закрывал глаза, зевал и наконец вдруг замер без движения. Видя все это, Гассан и Мегмет переглядывались между собой и загадочно улыбались.

– Выпьем, что ли, еще душа моя? – сказал первый и толкнул Сергея.

Тот промычал в ответ что-то несуразное, бессмысленное.

– Готов, – тихо произнес Мегмет. – Ты, Гассан, сильнее его потряси да потолокай.

– Чего еще? Разве не видишь? – отозвался тот, но все-таки последовал совету и сильно затряс Сергея за плечо.

– Пшоль! – отмахнулся тот и вдруг скатился с лавки на пол.

Гассан и Мегмет переглянулись.

– Связать его, что ли? – спросил первый.

– Чего там! – отозвался второй. – До утра проспит... И сонного зелья не понадобилось...

Вон и те уже готовы!

Действительно, все люди Грушецкого, кто где сидел, там и заснули...

– До утра проспят, не просыпаясь, – проворчал Гассан, – а там вернется господин, скажет, что делать... Теперь пойти к Асе, сказать ей, что и как...

В своеобразном «гареме» князя Василия немедленно после его отъезда начался горячий спор. Как только вернулась от своего господина старая Ася, к ней сейчас же кинулась красавица Зюлейка.

– Что, что он? – так и застрекотала она, обнимая старуху и по-детски, нежно ласкаясь к ней. – Сказал что-нибудь?

Ася, сумрачно глядя в сторону, утвердительно кивнула головой.

– Что, что он приказал? – впилась в лицо старухи своими огненными взорами красавица-персиянка. – Ну, скажи, Ася, не томи меня!..

Ася молчала.

– А, не хочешь говорить! – пылко вскрикнула Зюлейка. – Ты, стало быть, не любишь меня? Разлюбила? Уж, верно, об этой русской он тебе приказ отдал? Скажи, о ней?

– Да!

– Ну, я так и знала это. Сердце мое бедное чуяло беду! О горе мне, горе! В чужой, дикой стране, пленница я горемычная... одна, никого у меня нет, все недруги только кругом...

Зюлейка, как сумасшедшая, заметалась по горнице. Она разорвала у себя на груди одежду, царапала ногтями обнажившееся тело, дико визжала, а потом стала прямо-таки выть.

– Перестань! – попробовала уломать ее Ася.

– Не перестану! – упрямо ответила персиянка. – Скажи, что он тебе приказал?..

– Да пойми ты, дитя неразумное, что не могу я: ведь господин приказал ни одним словом не обмолвиться... Убьет он меня...

– А ежели ты мне не скажешь, так я убью себя. Ну Ася, ну милая, пожалей ты меня! Отца у меня убили, мать сама зарезалась, сестер в Турцию увели, одна ты у меня... И ты-то меня пожалеть не хочешь? – Она плакала так искренне, ласкалась так нежно, что Ася стала заметно сдаваться.

– Ну что тебе эта русская девчонка? – спросила она. – И чего ты за нее так беспокоишься, голову теряешь, беснуешься... Жалко, что ли, тебе! Пусть господин позабавится, если ему охота на то пришла.

– Позабавится! – воскликнула Зюлейка. – А я-то?

– Ты что же? Ты останешься, как была...

– Кто знает! Хороша эта русская девушка, таких я еще и не видывала... Как я могу ей господина отдать? Он теперь думает, что только позабавиться хочет, а потом ее из сердца легко не выбросит... Полюбит он ее, а на меня и глядеть не станет. Вот чего я боюсь. Ну, скажи, Ася, скажи! Ты добрая, ты хорошая... я знаю, что ты меня любишь! Прости ты меня, если я тебя обидела. Не сердись, скажи мне на ушко, что господин тебе приказал!

Говоря так, Зюлейка все с большей и большей нежностью ласкалась к безобразной старухе. Она крепко обнимала ее, осыпала градом поцелуев, называла разными нежными именами. Ася мякла все более и более.

– Вот пристала-то! – притворяясь сердитою, заворчала она. – Скажи да скажи, что господин приказал! А то он приказал, чтобы и старуху, и молодую опоить сонным зельем, а потом, как девчонка заснет непробудным сном, впустить его к ней... Тебя приказал на эту ночь куда-нибудь подальше убрать...

– И как же, Ася, ты осмелишься пойти на это? – спросила Зюлейка, вся дрожа от волнения.

– А разве я могу послушаться? Я – раба и должна повиноваться своему господину.

– Да, это так, – согласилась персиянка. – Но ты вспомни, что, прежде чем быть рабой, ты служила огню, была жрицей в храме огня и тебе ведомы были многие тайны, другим недоступные...

– Да, это так! – вздохнула Ася.

– А теперь ты осмеливаешься начать дело, не зная, угодно ли оно Всемогущему Существу? Ты хочешь, чтобы гнев его обратился на твою голову? Берегись! Всемогущее Существо жестоко покарает тебя... Ты что? Ты стара, но у тебя в твоей стране остались сыновья, дочери. Они будут страдать из-за твоей покорности...

Эти слова произвели на Асю впечатление. Она дрожала всем телом; видно было, что испуг овладел ею.

– Что же мне делать? – простонала она. – Что делать?

– Ты не знаешь? – уже торжественно спросила Зюлейка.

– Ох когда бы я знала! – захныкала старуха. – Научи меня, скажи, разум мой помутился...

– Вызови духа огня, спроси его! Пусть он покажет тебе судьбу этой русской, и поступи так, как желает божество. Или твои чары уже перестали действовать?

– Нет, нет! Дух огня благосклонен ко мне, но, чтобы узнать, что нам нужно, необходимо присутствие этой русской девчонки.

– Только-то? – воскликнула Зюлейка. – Ну, я помогу тебе, моя бедная добрая Ася: я приведу ее к тебе, а ты вызови духа огня, и пусть он поведает тебе свою волю.

Х. Среди женщин

Оставшись одна, старая Ася сперва заулыбалась отвратительной улыбкой, а потом беззвучно засмеялась. От этого она стала еще омерзительнее, еще безобразнее. Ее нос загнулся книзу еще более, беззубый рот зиял, как расщелина, а глаза заблестели, как блещут глаза волка, почуявшего близкую добычу.

– Ой, молодость, молодость, – закивала она в такт шепоту своей безобразной головой, – самонадеянная, бесшабашная молодость! Бедная Зюлейка! Она и впрямь думает, что она и умнее, и хитрее меня... Она теперь уверена, что старая Ася пошла на ее удочку, а между тем она сама же попалась в расставленные мною тенета! Да, да! Господин приказал мне сделать так, чтобы эта русская девчонка полюбила его, полюбила без ума, без памяти наяву, когда проснется завтра. Я должна сделать заклинания над ней и непременно не над сонной, а над бодрствующей, и непременно нужно сделать так, чтобы она сама, по доброй своей воле, пришла к моему огню. Она боится старой Аси, а теперь Зюлейка сама приведет ее ко мне...

Наступило молчание. Старуха прислушалась. Кругом царила глубокая тишина.

– Русскую страшит моя старость, – забормотала опять Ася, – и не может она понять, что Ася когда-то была молода и прекрасна, как она, что Асю любили удалыцы, прославившие Иран своей храбростью, что певцы слагали ей свои чудные песни... Да, было время! И Испагань, и Тавриз говорили с восторгом об Асе, прекрасной жрице огня. Все прошло! Все унесло злое время... Теперь Ася безобразна, теперь она ненавидит молодость и красоту. Она мстит им за то, что они ушли от нее. Да, да! Пусть страдает эта русская девчонка! Я отдам ее господину, он сделает ее несчастной, а проснется она еще больше несчастной: она будет томиться любовью к господину, а он, сорвав цветок наслаждения, будет смеяться над ее любовью...

Она остановилась и прислушалась. В соседних покоях было тихо.

Старуха забеспокоилась и заворчала:

– Что же не идет Зюлейка? Где русская девчонка? Гей, мои духи огня, соберитесь на зов вашей повелительницы, послужите мне, как служили прежде!.. Зову вас, собирайтесь со всех сторон света, есть дело! Собирайтесь, приказываю вам, молю вас!

Выкрикивая все это, старуха кривлялась, корчилась, извивалась, ее всю так и дергало: очевидно, Ася приходила в экстаз и уже теперь, когда у нее под руками ничего не было, она способна была произвести потрясающее впечатление на нервного или суеверного человека.

Послышались шелест тяжелых материй и легкие шаги.

Дверь распахнулась, и в покой вошли, почти впорхнули Зюлейка и Ганночка. Молодая персиянка зорко поглядела на старуху. По всей вероятности, она уже не раз видела Асю в таком состоянии. Ее глаза заискрились, она не удержалась и громко захлопала в ладоши.

– Так, так! – даже слегка припрыгнула впечатлительная Зюлейка и шепнула Ганночке: – Ты – счастливица, сестричка: Асю посетили ее духи огня, и теперь она скажет тебе всю правду... Только не нужно бояться, они не сделают зла.

Ганночка смотрела на безобразно кривляющуюся и дергавшуюся старуху с отвращением и испугом; вообще она начинала чувствовать, что вокруг нее творится что-то особенное.

Правда, Зюлейка была с нею бурно ласкова, но Ганночка совсем не привыкла к таким ласкам, и они не на шутку пугали ее. Она очень удивилась тому, что ее мамушка вдруг размялась в тепле, не могла преодолеть дремоту и заснула столь крепко, что как ни тормозила ее боярышня, а разбудить не разбудила. Старушка что-то мычала во сне, но глаз не открывала, и лежала пласт пластом. Ганночке это сперва показалось очень смешным – старушка уморительно морщилась, пыталась разомкнуть глаза; но потом девушке стало и скучно, и грустно. Зюлейка, уговаривавшая Асю, долго не приходила, и Ганночка от души обрадовалась, когда

наконец увидела ее. Все-таки это была женщина, молодая, красивая, и притом же она казалась Ганночке и доброй, и полюбившей ее.

Зюлейке было легко уговорить скуцавшую гостью пойти узнать свое будущее: ведь девушки так любят всякие гадания, кто из них не поддается соблазну заглянуть в неведомую даль грядущего и видеть, что их там ожидает?

– Да, может быть, страшно будет? – боязливо спросила Ганночка.

– Нет, нет, – поспешила успокоить ее Зюлейка, – зачем страшно! Ася – ворожея умелая... Она все тебе покажет... Суженого увидишь... А я буду с тобой рядом, никуда не убегу. Я буду тебя за руку держать, и ты меня держи... Вот и не будет страшно...

Ганночка все еще колебалась.

– Идем, идем скорее, – заторопила ее молоденькая персиянка, – а то еще твоя старуха проснется, она тебя не отпустит... Пойдем скорее, пока она спит!

Молодая девушка боязливо поглядывала на спящую мамку и не решалась последовать за своей пылкой подругой. Та заметила эту нерешительность.

– Ай-ай, какая же ты! – заговорила она. – Ну, не хочешь, как хочешь, не пойдем!.. А как Ася гадает-то хорошо! Еще у нас в Испагани все, кто хотел свою судьбу узнать, к ней шли. И всем она правду говорила... ай, как верно говорила! Расскажет, как на ладони выложит! Так-то верно, так-то верно!

Голос Зюлейки звучал так вкрадчиво, ее убеждения были так соблазнительны, что Ганночка в конце концов поддалась искушению.

– Ну пойдем, милая, что ли, – сказала она и даже вздохнула при этом. – Только, чур, уговор: ежели очень страшно будет, так я убегу...

Зюлейка с радости осыпала свою молодую гостью градом поцелуев.

– О, ты увидишь, что все хорошо будет! – воскликнула она. – Я за тебя рада, ты увидишь все, что тебя ждет в грядущем. Скорее, скорее пойдем!

Что заставляло Зюлейку так радоваться? Пылкая персиянка была искренна в проявлениях своих чувств. Она не считала русскую гостью соперницей себе, не считала, быть может, потому, что не любила князя Василия и даже ненавидела его со всею пылкостью своего горячего, порывистого сердца. Поддаваясь именно порыву, она решила во что бы то ни стало спасти Ганночку, вырвать ее из нечистых объятий Агадар-Ковранского, хотя бы только для того, чтобы досадить ему.

Чем была ей в самом деле эта молоденькая гостья? Так, красивой звездочкой, мелькнувшей в кромешном мраке ее неволи. Но Зюлейка не думала об этом; для нее было главным во что бы то ни стало разбить все замыслы ненавистного ей человека, и ради этого она сама пошла бы на все! Она была уверена в своей власти над старой Асей, единственным живым существом, с которым она могла вспоминать свою далекую знойную родину, но вместе с тем знала, что Ася считала себя рабою, и потому воля ее господина была для нее священна. Но для Аси было нечто высшее, чем дикая воля князя Агадар-Ковранского: Ася была огнепоклонницей и веровала, что священный дух огня правит миром и судьбою всех живущих. На родине она была служительницей огня, но и в неволе ее благоговение перед ним нисколько не ослабло, а, напротив того, еще усилилось, потому что старуха, потерявшая в жизни все, только и жила надеждой, что священный огонь возвратит ей потерянную свободу, и все, чего лишила ее тяжкая неволя.

Чуть не бегом, увлекая за собою Ганночку, она понеслась в тот покой, где их ожидала старуха.

– Вот и мы, вот и мы пришли! – закричала она, прыгая и хлопая в ладоши. – Ты должна погадать ей, Ася!

Старуха зорко поглядела на молодую гостью и кивнула головой в ее сторону:

– А не испугается девчонка, когда явится дух огня? Страшен его лик, голос его – что гром, пламя его сжигает тех, кто выйдет из зачарованного круга... Смотри, – обратилась она к

боярышне Грушецкой, – будь тверда, если желаешь узнать, что ждет тебя... Ты можешь увидеть ужасное, так собери все свои силы и ни шага вперед, ни шага назад! Можешь ты это?

Ганночка чувствовала, как замирает в ее груди сердце, но отступить ей не хотелось. Разожженное любопытство победило даже робость.

– Могу! – чуть слышно пролепетала она.

– Так ты твердо решилась?

– Да!

– Тогда пойдем!

Старуха с такой живостью вскочила со скамьи, словно к ней вернулись вновь и молодость, и силы.

– Пойдем, пойдем же скорей! – повторила она. – Наступает ночь, кто знает, что случится до утра!

Зловеще прозвучали эти ее слова. Ганночка так и задрожала, услышав их. Она уже хотела отказаться от гадания, убежать назад к своей старой мамушке, но Ася с легкостью и живостью молодой девушки пошла из покоя. Зюлейка потянула свою гостью за собой, и Ганночка чувствовала, что у нее не хватает сил для сопротивления...

Вся бледная, с туманом в глазах, следовала она за молодой персиянкой, шептавшей ей на ходу:

– Не бойся, не бойся! Я с тобою... Потом сама меня благодарить будешь... Да и как поблагодаришь-то!

Они шли темным, все понижавшимся переходом, заканчивавшимся крутою лестницею. Было темно, хоть глаз выколи. В лицо Ганночки пахнуло удушливой сыростью. Она поняла, что лестница вела в какой-то подземный погреб; ей хотелось убежать, но для нее уже не было возврата: вряд ли она нашла бы назад дорогу среди тьмы кромешной. Оставалось только одно: послушно следовать всюду за Зюлейкой...

– Стойте здесь, – раздался в темноте голос Аси, – не двигайтесь ни шагу, пока я не позову вас!

Последние слова прозвучали откуда-то издалека, снизу. Ганночка чувствовала, что ее голова кружится, в глазах ходили огненные блески, сердце так и колотилось в груди.

XI. Луч надежды

Старый Сергей был хитер и находчив. Он сообразил, что в том положении, в каком очутились они, силою им ничего не решить. Оставалась только хитрость. Недаром старик вырос среди литовских трущоб и с первых дней детства бродил по дубравам, охотясь, слабый и беспомощный, на их обитателей. Закон приспособления сказался в нем, необходимость выучила его всяким хитростям, развила наблюдательность, приучила ни в каких обстоятельствах не терять присутствия духа. Все это он сохранил и до старости, и теперь эти качества пригодились ему.

Немного поприглядевшись, он смекнул, что его подпаивают не просто так, ради гостеприимства, а с какой-то особою, пока ему неведомою целью. Поэтому он решил, что раз это так, то нужно пойти врагам навстречу. Ему ли, старому холопу, не суметь притвориться! Ведь всю жизнь он только то и делал, что притворялся, не один раз господина обманывал и от батогов ускользал, так чего же тут маху давать?

Посидев немного за столом и выпив для вида еще хмельной браги, Сергей, как уже известно читателям, свалился под стол и громко-громко захрапел. Однако это было ловким притворством: старик был свеж и его соображение работало с такою быстротою, как никогда.

Простодушные Гассан и Мегмет поддались на удочку. Они были убеждены, что Серега допился до бесчувствия, а он из-под стола слышал, что они говорили, и, чуть приоткрыв глаза, наблюдал за выражением их лиц.

Он быстро сообразил, что дело хуже, чем он мог предполагать: его ненаглядной боярышне Агафье Семеновне грозила беда.

«Как тут быть, как быть?» – вертелась в его мозгу назойливая мысль, но на нее не было ответа.

Серега совсем терялся в догадках: ведь он даже не знал, где его боярышня, как добраться до нее.

Он лежал под столом и страшно мучился, еще никогда не чувствуя себя настолько беспомощным, как теперь.

– А что, – произнес над ним Гассан, – пожалуй, нужно их рядком всех сложить, бок о бок...

– Верно! – согласился Мегмет. – Все они тогда и на виду, и на счету будут.

– Тогда постелим шкуры на пол, да и свалим всех этих пьяниц, – решил Гассан. – Пусть спят, сколько хотят!

Он крикнул что-то на восточном наречии другим слугам; те дружно засмеялись и принялись готовить постель перепившимся наезжим холопам. Потом они довольно-таки бесцеремонно принялись стаскивать их к разостланным шкурам и швыряли их положительно, как поленья дров. Пьяные до бесчувствия люди мычали, бранились, даже отмахивались, но глаз не размыкали и затихали тотчас же, как только попадали на мягкое, пушистое и теплое ложе.

– Этого поосторожнее, – сказал Мегмет, как только очередь дошла до Сереги, – он словно бы и пил меньше всех, вдруг еще проснется, после опять уложить будет трудно.

Они оба бережно подняли Сергея; тот, продолжая притворяться пьяным, заметался, забрыкался, замычал что-то непонятное, но глаз не открыл. Гассан и Мегмет громко смеялись. Теперь они окончательно убедились, что и старый холоп спит так же крепко, как и все остальные.

Побыв еще немного в людском покое, все люди Агадар-Ковранского ушли, вполне уверенные, что наезжие холопы еще долго проспят мертвым сном. И действительно, в покое раздавались громкое храпенье и сопенье на все лады. Серега лежал не двигаясь; мысли вихрем проносились в его мозгу, но он решительно не мог ничего придумать. Все, что приходило ему

в голову, казалось совершенно не годным, неисполнимым, и бедный старик готов был расплатиться от сознания своего полного бессилия.

Вдруг около него что-то зашевелилось и чья-то рука легко и осторожно дернула его за ногу.

– Дядя Сергей, а дядя Сергей! – услышал он тихий шепот.

Сергей сейчас же по голосу узнал спрашивающего и также чуть слышным шепотом спросил:

– Это ты, Федюнька?

– Я, дяденька, я самый...

– Чего тебе? Я-то думал, что и ты, как остальные, напился...

– Как можно, дяденька! Нешто ты не знаешь, что я хмельного отродясь в рот не брал?..

– То-то и оно... Уж и удивился же я, увидав, что и ты валяешься...

– А я притворялся. Я ведь по-ихнему-то понимаю. Помнишь, у нас полоняник-наймыченок жил, так я от него по-ихнему малость насобачился... Калмыки они из-под Астрахани. Слышь, дядя, плохо наше дело. Неспроста они угощали нас-то: им их князь приказал. Плохо, говорю я, дело: боярышню нашу вызволять надобно. Нас-то тут вином накачивали, а мамку та старая ведьма сонным зельем опоила... Вишь ты, князь здешний до нашей боярышни добирается.

– Что же нам делать, Федюшка?! – чуть не в полный голос воскликнул Сергей, приподнимаясь на своем ложе. – Скажи хоть ты... Господь иногда младенцев умудряет...

Федюшка тихо засмеялся и сказал:

– Я-то, дядя Сергей, не младенец, а что делать, знаю...

– Что, милый? – заволновался старик. – Говори скорее! Веришь ли, все мое сердечушко изныло. Ну, говори скорее, что делать?

– Что? Да боярышню прежде всего вызволять...

– Тьфу, дурень, – рассердился Сергей, – это я и без тебя знаю... Ты мне скажи, как...

– И это скажу... Добраться до нее нужно... Я-то дорогу приметил... Ежели хочешь, поползем – я впереди, ты за мной... Только так ползти нужно, как змеи ползают, чтобы даже здешняя мышь не почуяла, что мы близко... Вот как! Сможешь?

– Ой могу! Да чтобы я чего не смог для боярышни ненаглядной?.. Вали, Федя, а я не отстану.

– Тсс! – шепнул Федька, – слышь, идут сюда калмыцкие нехристи! – И он проворно юркнул в сторону на свое место.

Федька не ошибался. Дверь хлопнула, и в покой вошли Гассан и Мегмет с коптившими, тускло горевшими светцами.

Было уже совсем темно. Гассан и Мегмет, доверенные люди князя Василия, угощая гостей, и сами выпили, вопреки закону Магомета, а потому их лица были красны, и они даже слегка пошатывались.

– Спят! – проговорил первый, направляя тусклый свет на наезжих холопов.

– Без просыпу, – ответил Мегмет. – Все ли?

– Все! – пересчитал спавших Гассан. – Поди, и нам теперь можно вздремнуть до князя... Стеречь их нечего...

– Стоит ли? Пожалуй, господин-то теперь скоро примчится...

– Услышим! Со двора тревогу подадут, а мне спать куда как охота... Ты как там хочешь, а я прилягу...

Он подошел к столу и одним духом осушил большой ковш браги, а потом растянулся на лавке и громко зевнул.

Пример Гассана соблазнил и Мегмета. Он тоже принялся за брагу и осушил целых два ковша ее; после этого он повертелся, походил по покою, подошел к спавшим гостям, заглянул в

окно, где ни зги не было видно, и тоже растянулся на другой лавке. Скоро их храпенье слилось с храпеньем пьяных холопов.

ХII. Трудное дело

Видевший все это Сергей потерял всякую надежду на успех предприятия. Он лежал не шевелясь, с лицом, уткнутом в мех шкуры, и слезы так и подступали к его горлу: его душило отчаяние, все было потеряно, на спасение боярышни идти было невозможно...

Вдруг Сергею показалось, что тускло мерцавший свет слегка заколебался. Он приподнял голову и увидел, что у стола мелькала какая-то фигура, старавшаяся задуть огонь.

«Федюнька, – решил Сергей, – старается, молодец!.. Да сгубит всех он нас», – промелькнула тревожная мысль.

Как раз в это время огонь погас, и покой весь погрузился в кромешную тьму.

Серега от страха дышать даже перестал. Он был уверен, что калмыки сейчас же проснутся и поднимут тревогу, но по-прежнему в людском покое слышалось только храпенье на все лады. Очевидно, Гассан и Мегмет спали так крепко, что их не разбудило даже внезапное наступление темноты.

«Ай да молодец, Федюнька!» – подумал Сергей с восхищением в душе и опять почувствовал, что его кто-то тормозит за ногу.

– Это ты, Федюнька? – спросил шепотом старый холоп.

– Я, я, дядя Серега, тише ты! Вот тебе мой ременный пояс, возьми его в зубы и ползи за мной, только помни – как змея... Я дорогу к дверям знаю...

Через мгновение оба они уже ползли по полу. Сергей, крепко державший в зубах пояс Федьки, молился всем святым и в то же время восторгался подростком.

«Истинно, Господь послал нам такого паренька!» – думал он.

Федюнька и в самом деле знал, куда ползти. Он осторожно, не произведя ни малейшего шума, открыл дверь и выполз за порог. Сергей последовал за ним. Он не видал, но почувствовал, как затворилась за ними, по-прежнему бесшумно, дверь, и Федя быстро вскочил на ноги.

– Вставай и ты, дядя Сергей, – уже не так тихо произнес он. – Да не бойся, будь посмелее, а то у нас ничего не выйдет.

– А куда идти-то? – спросил, ничего не видя перед собой, Сергей. – Куда, милый?

– Иди за мной! Вынь пояс-то из зубов, в руке держи, да не выпускай!.. Ну, пошевеливайся! Времени у нас мало... Трогайся!

Старик беспрекословно повиновался своему юному товарищу. Он даже и не подозревал, чтобы Федюнька, бывший среди дворни Грушецкого на простых побегушках, мог оказаться таким смышленным малым. Да и положение было таково, что волей-неволей нужно было подчиниться ему. Сергей послушно шел за Федюнькой. Так они, крадучись вдоль стены, добрались до конца перехода и уперлись в какую-то дверь.

– Стой, дядя, – шепнул Сергею подросток, – обожди малость, я взгляну, что там такое...

Не выпуская ремня, который был путеводной нитью для Сергея, Федя тихонько приоткрыл дверь. За нею было так же темно, как и в переходе.

– Шагай, дядя Сергей, смело! – проговорил было Федор, но вдруг стремительно метнулся назад, шепча: – Идут, со светом идут!

Они притаились около двери; Сергей горячо молился, чтобы и на этот раз пронесло беду; Федор весь так и согнулся, нащупывая на всякий случай за голенищем рукоять ножа.

– Чу, – прошептал он, выпрямляясь, – да там никак беда! На самом деле до них доносились женские голоса.

Это Зюлейка и Ганночка спешили к старой Асе.

Боярышня Грушецкая даже и не подозревала, что так близко от нее находятся беззаветно преданные ей люди; те в свою очередь и на мгновение не подумали, что их любимица-боярышня находится так близко от них.

Ганночка вся была охвачена суеверным страхом, когда осталась одна перед входом в тот погреб, куда, по словам Зюлейки, удалилась Ася, чтобы произвести свои чародейские заклинания. Как ей хотелось возвратиться обратно, как замирало ее бедное сердечко при одной только мысли, что ее ожидает впереди что-то неведомо страшное! Она, дрожа всем своим юным телом, ожидала призывного оклика, но его не было долго, очень долго. Девушка слышала, как где-то капала и, падая, булькала вода; то и дело из каких-то невидимых отдушин налетал ветер, слышалось его тихое, заунывное посвистывание. Суеверный ужас в душе молодой девушки все разрастался. Наконец среди безмолвия раздался хриплый, визгливый крик старухи. Это Ася звала к себе Ганночку.

ХІІІ. В тумане грядущего

Не помня себя от страха, Ганночка двинулась вперед на призывный оклик.

– Идем, идем! – как во сне услышала она голос Зюлейки, откликнувшейся на крик старухи. – Все ли у тебя готово, Ася?

Ганночке показалось, что этот голос звучал где-то совсем далеко от нее. В то же время ей казалось, будто не сама она идет, а ее несет вперед, то и дело колыша, какая-то неведомая волна.

Но вот перед ее глазами блеснул яркий синеватый огонек. Они были в подвале, и Ганночка увидела перед собой небольшой горевший, но не дымивший костер и около него женщину.

Она ни за что не признала бы в этой женщине у костра старой безобразной Аси, той самой Аси, которая возбуждала в ней и страх, и отвращение.

У костра стояла, гордо выпрямившись, не молодая, но и вовсе не старая и отнюдь не безобразная женщина. На ней был странный, никогда не виданный на Руси балахон, красивый, с позументами, нашитыми так, что издали они казались огненными языками. На голове женщины был высокий остроконечный, украшенный такими же позументами-«языками», колпак, сдвинутый на затылок и открывавший лицо.

От отблеска синего огня в костре, это лицо казалось лицом не живого человека, а мертвеца – так оно было иссиня-бледно. Однако, взглядевшись, Ганночка, хотя и с трудом, все-таки признала Асю. Глаза старухи так и горели огоньками, когда она взглядывала на русскую девушку; ее грудь дышала столь порывисто, что по временам казалось, будто Ася задыхается. Из горла то и дело вырывались хриплые, совсем нечленораздельные звуки. Ася что-то говорила, но Ганночка совершенно не понимала ее. В руках у Аси был длинный тонкий черный жезл, которым она размахивала из стороны в сторону, и при каждом взмахе конец этого жезла вспыхивал синеватыми огоньками.

Во всем погребке разливался сильный сладковатый запах. Ганночка, едва войдя, уже почувствовала, что у нее кружится голова. Однако она пересилила себя и храбро ждала, что будет дальше.

Зюлейка была около нее, и боярышня чувствовала, как дрожит в ее руке рука персиянки. Ясно было, что Зюлейка ощущала страх, но и она старалась держаться, не показывая вида, что боится.

Войдя, обе женщины остановились у порога; Ася повелительно протянула вперед свой жезл, как бы запрещая им идти далее. Ганночка испугалась, когда перед нею сверкнули синие огоньки с острия жезла. Она так и замерла на месте, ожидая, что теперь потребует от нее это страшное существо.

Ася между тем сделала шаг вперед и очертила своим жезлом на полу подвала большой полукруг, вполне достаточный, чтобы в середине его могли поместиться и Ганночка, и Зюлейка. Конец жезла, описывающий этот знак, оставил после себя синевато-огненный след, слабо мерцавший и слегка дымившийся. После этого Ася повелительным движением указала Ганночке и Зюлейке место в огненной дуге, где они должны были стать, и, когда это было исполнено, по-прежнему острием жезла соединила концы линии, так что образовался круг, в центре которого очутились теперь обе женщины.

– Мне страшно, страшно! – дрожа всем телом, прошептала Ганночка. – Я хочу уйти...

– Нет, нет, – также шепотом ответила ей Зюлейка, – это невозможно... Нельзя уйти... Духи огня, подчиненные Асе, уже здесь, они спялят нас, если мы выйдем из круга...

– Долго ли еще будет этот страх? – опять спросила Ганночка.

– Не знаю! – услышала она дрожащий голос Зюлейки. – Мы должны оставаться, пока нас не выпустит Ася... Тише, тише! Слышишь?

Ганночка пока ничего не слыхала.

– Слушай, – заговорила Зюлейка, – духи здесь, я слышу их голоса... Собери свои силы, будь мужественной...

Напрягши слух, Ганночка различила поблизости какое-то бульканье. Казалось, что кипела вода в каком-то невидимом для глаз котле. На костре с синим огнем не было ничего, звуки раздавались где-то позади от гадалщиц. В них не было ничего страшного, но невидимое всегда пугает, и не одних только робких женщин. А тут как раз Ася подошла вплотную к кругу и устремила свои глаза на Ганночку. Та не могла выдержать этот сверкающий взгляд и закрылась от него рукою.

– Уйди, уйди, проклятая! – довольно громко залепетала она. – Не нужно мне твоего колдовства... Ничего я не хочу знать... Ничего! Сгинь, рассыпся! Да воскреснет Бог!..

Но ничто не действовало: Ася не уходила и продолжала смотреть на русскую девушку. Та чувствовала нечто непостижимое: ей казалось, что какие-то невидимые волны льются из этих страшных глаз прямо в ее душу, льются и мутят остатки разума, заставляют кружиться голову, лишают ее воли...

– Сгинь, рассыпся! – еще раз простонала девушка. – Зачем, зачем это?

Ася водила перед ее глазами своим сверкающим жезлом, и Ганночка начинала чувствовать, что ею овладевает непреодолимая дремота. Она даже на мгновение закрыла глаза, но когда вновь разомкнула их, то увидела, что Ася стоит около своего костра с простертой вперед рукой.

Теперь Ганночке уже совсем не было страшно. Она была спокойна, недавний ужас отошел от нее. Она оглянулась и увидела, что Зюлейка опустилась на колени у ее ног и, закрыв лицо полами платья, вся трепещет.

«Чего это она? – подумала Ганночка. – Я же вот ничего не боюсь...»

Она забыла о своем недавнем страхе, и теперь только одно любопытство владело ею.

Совершенно спокойно, без дрожи и трепета, смотрела она на то, что происходило у костра.

Пока Ася держала над ним свою руку, синее пламя в нем то и дело вспыхивало длинными, также синеватыми язычками. От этих язычков тянулся теперь дым, расплывавшийся сейчас же во все стороны. Сладковатый запах становился все более и более ощутительным – так и щекотал ноздри Ганночки. Ее голова опять закружилась – дым пахнул прямо на нее, но в это мгновение Ася, сорвавшись со своего места, закружилась вокруг костра в неистово-бешеной пляске. Ее движения были так стремительны, что Ганночка не улавливала их. Она слышала дикие привизгивания кружавшейся колдуньи, но почти не различала ее в сгущавшемся все более и более дыму. Так длилось некоторое время.

Наконец огонь в костре ярко вспыхнул и поднялся вверх большим ярко-багровым столбом. Сейчас же пламя опало, и перед глазами изумленной Ганночки была теперь словно завеса из белесоватого тумана.

Ганночка видела, что на этой завесе движутся какие-то неясные тени, весьма похожие на человеческие фигуры. С каждым мгновением эти тени вырисовывались все яснее и яснее. Скоро уже можно было разобрать все. Девушка увидела какие-то постройки. Вглядываясь, она различила терема, палаты, невиданный ею кремль какого-то, очевидно большого, города.

Ей казалось, что она видит постройки этого чудного кремля. Среди них на большой площади было много храмов с золочеными куполами. С одной стороны этой площади она увидела высокие палаты с обширным широким крыльцом, и словно кто-то сказал ей, что это – царский дворец.

Перед ним столпился народ, все с обнаженными головами, а наверху крыльца, окруженный сонмом бояр, степенных и важных, стоял бледный молодой человек в царском одеянии.

Ганночка вскрикнула, увидав этот призрак, и звук ее голоса глухо прозвучал под сводами погребя. То, что она видела, доставляло ей невыразимое удовольствие.

Девушка чувствовала себя несказанно счастливою, ей хотелось, чтобы видение длилось без конца. Но в это мгновение она услышала болезненный крик: кто-то не грубо, но сильно схватил ее за руку.

Это было столь неожиданно, что нервы Ганночки не выдержали, она отчаянно вскрикнула и лишилась сознания.

На дворе у княжеского дома слышалась суетня; ржали и фыркали лошади, люди кричали на разных языках, мелькали зловеще-багровые огни смоляных факелов; несмотря на глухую уже ночь, весь дом сразу ожил.

XIV. Вызволённая боярышня

Рука, столь грубо нарушившая очарование, во власти которого находилась Ганночка, была ей не совсем чужая. Это Серега и Федюнька, полные желания во что бы то ни стало спасти свою неоценимую красавицу-боярышню от грозившей ей позорной участи, наконец-то нашли ее.

Когда они, испуганные внезапно показавшимся светом и звуками человеческого говора, дрожа и волнуясь, захлопнули дверь, то все-таки – по крайней мере Федюнька – не совсем потеряли свою бодрость и не забыли той цели, к которой стремились.

После той до дерзости смелой проделки, которую выкинули они, уйдя из-под носа своих спавших вблизи сторожей, их нервы уже попривыкли к опасности, и страх, этот предвестник близкой беды, минул.

– Дядя Серега, – прошептал Федюнька, – слышь ты: мимо бабы шли... Да очнись ты, ишь ополоумел! Очнись, скажи хоть словечко...

Сергей взглянул на подростка, и ему стало стыдно Федьки, выглядевшего как ни в чем не бывало и даже улыбавшегося. Только длинный засапожный нож в его руках показывал, что он готов лицом к лицу встретить всякую опасность.

– Слышь, дядя Сергей, что я говорю, – толкал он старика под бок, – бабы!

– Может, оборотни! – пробормотал в ответ тот, понимая, что ему в данном случае нужно хоть что-нибудь сказать.

– Чего там оборотни? Какие оборотни? – насмешливо проговорил подросток. – Ежели оборотни, так с ними всегда крестом да молитвой справиться можно. Это – настоящие бабы, как полагается... – Федор вдруг замолк и на мгновение глубоко задумался. – Слышь, дядя Серега, что я тебе скажу, – вдруг воскликнул он, – ведь там наша боярышня была!

– Да ну? – даже растопырил руки от удивления старик. – Врешь!

– Чего вру? По голосу узнал...

– Право, врешь! И чего ей в чужом доме, ночью, по разным закоулкам шататься?.. Посуди сам, пойдет она?

– А вот пошла, – торжествующе, с сознанием собственного достоинства ответил Федор. – Мало ли что на свете бывает! – с философской рассудительностью закончил он.

Сергей все еще продолжал не верить, и Федор стал заметно волноваться.

– Ну, ты как там желаешь, – сознавая свое превосходство в создавшемся положении, проговорил он с неудовольствием, – хочешь за дверью стоять – стой, твое это дело, попадайся Гассанке с Мегметкой на зубы. А я пойду...

– Куда, куда, миленький? – засуетился Сергей, сильно обеспокоенный создавшейся перспективой остаться одному среди темного перехода совершенно незнакомого ему дома. – Куда ты пойдешь?

– Как куда? Куда шел: боярышню вызволять! – ответил Федор и смело отворил дверь в покой за переходом.

– Стой, Федя, стой, миленький! – засуетился перепуганный старик. – Ежели ты, так и я за тобой. Вот только где твой ременный пояс? – шарил он во все стороны вокруг себя руками.

Федор тихо засмеялся и протянул ему руку, сказав:

– Держись!

Они вошли в неосвещенный покой.

Ночь уже наступила; на небо взошла луна, и ее слабый свет лился внутрь покоя через слегка запотевшие окна. Благодаря этому вокруг смельчаков была не столько темь, сколько таинственная, порождавшая всюду тени полумгла. Кое-как, с большим трудом, но все-таки же можно было оглядеться вокруг.

Было мертвенно тихо, и эта тишина, как казалось Сергею, веяла чем-то могильным. Он чувствовал оторопь, но ему стыдно было выказать ее перед подростком, и он старался держаться бодро.

– Ну вот, – заворчал он, – говорил ты: «Идем!» Пришли, пришли, а теперь куда?

– Постой, не торопи! – огрызнулся Федор. – Дай сообразить.

Он начал повертываться во все стороны, потом отошел к двери, через которую они проникли в покой.

– Свет вот с этой, правой стороны виделся, – размышлял он вслух, – стало быть, шли отсюда, а выходит так, что шли справа налево, выходит, стало быть, что нам нужно налево идти. Там-то дверь непременно должна быть! Поглядим...

Он начал осматривать стену, приходившуюся от него налево, и скоро радостно вскрикнул: он действительно нашел ход!

– Идем, дядя, идем, – потащил он за собой Серегу, – засапожник-то у тебя при себе?

– Нет, – с сокрушением ответил старик, – должно быть, обронил я его, как ползли. Да и не нужно его, я и голым кулаком не хуже управляюсь...

– То-то! А то ведь идем мы с тобою неведомо куда, кого встретим – тоже неведомо. Может быть, боярышню-то отбивать придется.

– Ладно, – пробормотал старик, – не сдадим!

Они шли тем же понижающимся уступами переходом, по которому перед ними проходили Ганночка и молодая персиянка.

Идти им приходилось очень медленно, цепляясь за стену, переступая шаг за шагом. Сергей скоро почувствовал утомление и должен был то и дело останавливаться для отдыха. Это страшно злило Федора, но делать было нечего, не мог же он оставить товарища одного в темном переходе...

Наконец, спустившись по мокрым, скользким ступеням, они очутились у входа в подвал, где чародействовала старая Ася. Прежде всего они увидели пелену из дыма, образовавшую как бы стену, на которой им решительно ничего не было видно. Перед этой стеной, выпрямившись во весь рост, стояла с высоко поднятой головой их красавица-боярышня, а у ее ног полулежала молодая персиянка, которую Сергей уже не раз видел в эти часы.

– Смотри, смотри, – прошептал на ухо Сергею Федор, – там, за дымом, у окна, старая колдунья лежит...

– Тогда не зевай, парень, возьмем боярышню...

– Возьмем, возьмем, хотя бы силой. А то тут задохнется.

Теперь, уже не думая скрываться, и старик, и подросток кинулись к своей милой боярышне Агашеньке, и Сергей схватил ее за руки как раз в то мгновение, когда она видела перед собою на высоком крыльце молодого бледного царевича.

Ганночка, почувствовав прикосновение мужских рук, вскрикнула, как бы пробуждаясь от тяжелого сна.

– Кто это? – дрожащим голосом проговорила она. – Где я?

– Молчи пока, боярышня милая, – услышала она в ответ знакомый голос Сергея, – хотели злые люди погубить тебя, да мы подросли; уж мы-то тебя в обиду не дадим, скорее жизни лишимся, чем хоть волос с твоей головы упадет...

Он не договорил. Обессиленная от впечатлений Ганночка лишилась чувств. Она упала бы, если бы старый холоп не успел подхватить ее на руки. Федор не мог оказать ему помощь. Очнувшаяся от своего полузабытья Ася вцепилась в него, визжала, кусалась, царапалась. Федюнька, не в силах освободиться от нее и не видя помощи от Сергея, быстро пришел в ярость.

– Отцепись, змея подколотная, – крикнул он. – А, ты не хочешь! Так вот тебе!

Он со всей силы ударил старуху по голове рукоятью засапожного ножа. Та тихо вскрикнула и отвалилась от малого; Федор сильно толкнул ее, скорее отшвырнул прочь от себя и кинулся к Сергею, державшему в охапке боярышню и, видимо, положительно не соображавшему, что ему теперь нужно делать. Около них уже суетилась Зюлейка, очевидно тоже не понимавшая, что происходит вокруг нее. Персиянка что-то лепетала; ни Сергей, ни Федор не понимали ее, но они видели, что эта женщина настроена к ним отнюдь не враждебно, и быстро сообразили, что могут получить от нее помощь.

– Ну, ну, милая, – ласково заговорил Сергей, – проводи нас скорее, где мамушка нашей боярышни, а то нехорошо ей, воеводской дочери, по подвалам пребывать! Ну, ну, не кочевряжься, показывай, что ли, путь! Куда идти-то? А не то!..

Старик, слышавший поднявшуюся на дворе тревогу и боявшийся всякого промедления, сделал угрожающий жест.

– Да брось ты ее, – остановил его очутившийся около него Федор, – сами выберемся, той же дорогой пойдем. Ишь ты, ведунья проклятая, туда же: нашей боярышне колдовать вздумала! Идем, идем. Вот тут ихний фонаришко валяется, – ткнул он фонарь, который принесла с собой Зюлейка, и, подняв его, пошел вперед к выходу из подвала, в котором пахучий дым сгущался все более и более.

Зюлейка кинулась вперед; видимо, участь Аси нисколько не трогала ее, и она словно позабыла о ней. Позади всех старый Серега нес в своих медвежьих объятиях бесчувственную Ганночку.

Когда они вышли в верхний переход, то тревога и суматоха распространились уже по всему дому.

– Что еще там случилось? – сумрачно проворчал Сергей. – Эх, только бы до мамушки добраться!

Это им удалось вполне благополучно благодаря путеводительству Зюлейки. В покое, отведенном для гостей, было все тихо; мамушка крепко спала на жарко истопленной лежанке. Ее сон был столь крепок, что, когда Сергей попробовал разбудить ее, это ему не удалось.

Они уложили все еще бесчувственную Ганночку на постель, и около нее сейчас же примостились Зюлейка.

Так прошло несколько времени.

– Идут, – вдруг вся так и взметнулась Зюлейка, заслышав приближающийся к дверям их покоев шум, – господин идет!..

– Пусть идет, – спокойно проговорил Федор, вытаскивая нож.

Зюлейка тоже вытащила из складок своего платья длинный тонкий кинжал, а Сергей, у которого не было никакого оружия, схватил за конец тяжелую скамью.

Шум становился все ближе и ближе.

XV. В лесной тущобе

Князь Василий себя не помнил, вынесшись от своего родного дома в адски темный лес. Он хлестал мчавшегося вихрем коня, как будто боясь, что за ним будет погоня, которая опять вернет его назад и снова поставит перед неумолимой, как пробудившаяся совесть, теткой. Князь Василий спешил уйти, потому что боялся Марьи Ильиничны.

Впервые он ослушался, вышел из ее воли. Он слышал ее угрозу и понимал, что старушка исполнит сказанное. Но страсть так мощно владела его существом, что даже и угроза боготворимой тетки не могла подавить ее веления.

– Пусть, пусть уходит! – говорил себе князь Василий. – Пусть все уходит, никого мне не нужно, никого! Пусть я один останусь на белом свете, но все-таки дедовская обида будет отомщена...

Однако, едва он подумал об отмщении старой дедовской обиды, как ему сейчас же пришли на память слова Марьи Ильиничны. И вдруг его охватила невыразимая злоба против старушки, которую он всю жизнь по-детски пылко любил.

«Да, да, – со всевозрастающим озлоблением думал он, – не твоя, старая карга, московская роденька обижена, от ворога страдала... Чужая обида, известно, не больна! Пусть бы кто-либо одного из твоих московских петухов тронул, так-то ли бы ты запела, а то чего требуешь? Чтобы я, князь Агадар-Ковранский, да за деда во сто крат не расплатился. Я! Да в моих жилах, может быть, кровь ордынских ханов течет, – оттого-то я так всех московских бородачей и презираю. А тут простить, забыть! Нет, никогда!»

И князь Василий, словно ослепленный, с бешеной яростью принимался нахлестывать и так уже терявшего силы коня, бить его по крутым взмыленным бокам коваными каблуками своих тяжелых сапог. В душе его клокотало безумие, ярость слепила его.

Обуреваемый своими огневыми думами о сладкой мести, князь не заметил того, как метался из стороны в сторону несчастный конь, не понимавший, чего требует от него его господин. Он под ударами рвался вперед, насккивал на попадавшиеся ему деревья, в диком ужасе отбрасывался от них прочь, садился в снег на задние ноги и снова, побуждаемый градом жестоких ударов, кидался вперед, не разбирая дороги, которую он давно уже потерял...

А князь Василий даже и не замечал этого. Он сознавал, что мчится по лесу, но обычен ли был его путь, о том он даже и не думал.

Кругом стояли вековые ели, сосны, опушенные снегом, сквозь их макушки лила свой слабый, кроткий свет луна. Гигантские, слегка колеблющиеся тени лежали на небольших лесных полянках и прогалинах, но ничего подобного не должно было быть на том пути, который вел от лесного поместья Агадар-Ковранского к его заезжему домику на опушке. Князь Василий не замечал даже того, что его измученный конь, делая гигантские скачки, то и дело проваливался в снег, иногда уходя в него выше груди, выкарабкивался опять, кидался дальше; но его силы заметно истощались, прыжки становились все меньше и короче, он начинал часто спотыкаться, а его дыхание перешло уже в сплошное надрывистое храпенье.

Всадник не замечал этого. Упоенный своими думами, теми картинками, какие рисовало ему его расстроенное воображение, он старался представить себе те моменты, когда внука оскорбителя его давно уже умершего деда очутится в полной его власти. Ни на одно мгновение князь Василий не допускал мысли, что старая Ася осмелится ослушаться его приказаний, и случится что-нибудь такое, что помешает ей выполнить их.

Вообще князь Василий не признавал случайностей там, где дело шло об исполнении его воли. Он даже не учитывал их, даже не считал возможным, чтобы его приказание осталось неисполненным и, чем сильнее была уверенность в этом, тем ярче рисовались картины того подлого дела, которое с такою отчетливостью задумал он.

Быть может, если бы Ганночка Грушецкая не была так хороша собою, то князь Василий был бы более благороден. Может быть, если бы на ее месте был ее отец, то и наследственная ссора тут же прикончилась бы примирением. Но Ганночка пробудила в своевольном князе Василии дикую, животную страсть. Он хотел ее всем пылом своей мятежной души, но в то же время знал, что насилие было бы скверной подлостью, которая навсегда легла бы позорным пятном на его честь и почесть его рода. Не в силах справиться со своими дикими желаниями, он подыскивал всевозможные оправдания для внезапно задуманного позорного преступления, и наиболее ярким из них была наследственная обида.

Но как только он перестал думать о мести, переставал рисовать себе картины своего будущего преступления, совесть где-то в тайниках его души начинала громко протестовать против задуманного, и это более всего приводило в ярость Василия. Он спешил подавить, заглушить этот ужасный голос, но ему не удавалось, и он, приходя в неистовую ярость, совершенно терял голову, даже не соображая того, что путь в лесу уже потерян и что, не будь этого, он уже давно был бы в своем доме на опушке.

Вдруг измученный конь страшно захрапел и остановился как вкопанный. Князь Агадар осыпал его градом бешеных ударов и так рванул удила, что морда коня сразу окровавилась. Животное тогда обезумело. Инстинкт предупреждал его о какой-то непосредственно близкой опасности, но теперь боль пересилила инстинктивный страх.

Конь, страшно храпя, взвился на дыбы; однако всадник удержался и продолжал сыпать удары. Животное, дико заржав, попыталось сделать гигантский прыжок, как бы желая перебраться через что-то, но сила изменила ему. Конь упал на передние ноги и глубоко зарылся в снег.

Князь Василий страшным толчком был выброшен из седла и упал через голову на снег. С проклятиями он сейчас же вскочил на ноги, кинулся к коню, схватил его за поводья, но в следующий же момент невольно отступил назад, и по всему его телу вдруг пробежал холодок оторопи.

При слабом свете луны он увидел поднимавшуюся из-под снега чудовищную голову. Ярко горели громадные глаза, лязгали огромными клыками страшные челюсти огромной пасти. Из больших ноздрей вырывалось обращавшееся в пар смрадное дыхание. За головой показались огромные плечи, к остолбеневшему князю Василию тянулись толстые, словно обрубки бревен, мохнатые, с ужасными когтями лапы. Это выходил из берлоги внезапно потревоженный медведь.

Князь Агадар стоял как вкопанный, крепко ухватив рукоять своего охотничьего ножа, и глядел перед собой.

Чудовище медленно поднималось из своего зимнего логова. Это был медведь-великан, каких и в те времена было немного. Он вытянулся весь из своей берлоги, и, поднявшись на дыбы, медленно переваливаясь с ноги на ногу, колотя себя лапами по груди, пошел прямо на князя.

Князь Василий понял, какая опасность надвигается на него, и обнажил нож. Чудовище подходило все ближе и ближе, его смрадное дыхание обдавало князя Василия. В инстинктивном ужасе он подался назад и сейчас же со стоном упал: он чувствовал страшную боль в ноге и понял, что вывихнул ее при падении.

XVI. За подмогою

Три вершника Грушецкого, о которых вспомнил старый Серега, не видя их среди остальной челяди своего поезда, незаметно отделились от него еще в то время, когда обоз подходил к домику Агадар-Ковранского.

Парни действовали на свой риск и страх. Они твердо памятовали то совещание, которое было между ними, когда среди леса у них совершенно неожиданно сломались полозья у кибитки с боярышней, и считали, что ехать на ближнее селение за подмогой – дело уже решенное. Поэтому-то, недолго думая и никому не сказываясь, даже старому Сереге, едва поезд с величайшим трудом двинулся вперед по указанному Федькой направлению, они отделились от него и повернули назад. Оттого-то и не заметил старый Сергей того, как они ушли.

Все трое вершников были молодые, здоровые парни, не любившие ни над чем особенно долго задумываться. Они были литовцы и выросли в лесных трущобах, где всякого зверья было куда больше, чем людей. У себя на родине они привыкли находить дорогу, там им была известна каждая лесная тропка, но здесь все им было чужое: даже деревья казались совсем иными.

Но это нисколько не смущало молодцов.

– Ладно, – сказал один из них, когда они углубились в лес (дорога к поместью Агадар-Ковранского была ими примечена, когда они проезжали мимо нее), – не заплутаемся. Не впервой в лесу-то бывать!

– А ночь? – опасливо заметил другой. – Стемнеет – зги не увидишь...

– По звездам путь найдем. Ночью-то звезд и здесь необоримая сила...

– Вестимо так, – поддержал товарищей третий вершник, – не сидеть же нашей боярышне невесть где. Боюсь я, как бы беды какой не приключилось!

– А что? – разом спросили оба вершника. – Какая беда-то? Нешто ты слыхал что?

Ответ последовал не сразу.

Вершники углублялись все далее и далее в густой лес. Деревья-исполины стеной стояли по обе стороны дороги и затемняли слабый свет угасавшего дня. Само собою даже в сердцах привычных людей рождалась невольная жуть. Казалось, и лошади испытывали то же чувство, что и люди. Они шли неохотно, пофыркивали, храпели.

– Так о какой беде-то ты говорил давеча, Митроха? – нарушив молчание, переспросил первый вершник. – Или прослышал что-либо?

– Он там, на ночлеге, – засмеялся второй, Константин по имени, – все с бабами да девками толкался, так у него всяких сплетен, поди, целый воз понабрался...

– Помалкивай, Костыка, вместе были, – огрызнулся Дмитрий, – а ежели Ванятка про беду спрашивает, – кивнул он на первого вершника, – так, поди, ты и сам на ночлеге слыхивал, сколь лют здешний князь Василий Агадар-Ковранский.

– Верно, верно, ежели ты про такую беду, – отозвался Константин. – Дюже лют князь Василий до девок и баб; ежели которая помилее, так и на глаза ему лучше не попадайся. Я так полагаю, Митроха: как бы от него нашей боярышне какой проторы не вышло?

– То-то и оно, – произнес опасливый вершник, – ты то сказал, что я подумал.

Иван внимательно слушал, что говорили товарищи.

– А почему тут вы про лютого князя Агадара заговорили? – спросил он. – Ведь к нему в его усадьбу за подмогой едем и его же хулим. Какое он касательство к нашей боярышне иметь может? Ишь, что медведь в лесную чащу забрался. Так что же он нам?

Дмитрий раздумчиво покачал головой, Константин засмеялся.

– Ты совсем простота, Ванятка, – сказал первый. – Какое касательство? Да нешто боярышня-то наша – коза, а не девка, прости Господи? Нешто она – не красота писаная? Ведь всякий, кто поглядит на нее, вовек ее не позабудет, а сам сердцем иссушится.

– Так это, – одобрительно крикнул Иван, – это ты, Митроха, правильно. Вот к нам на границе какие паны наезжали, от Вильны, а то и от Варшавы самой, так как взглянут на Агафью Семеновну, так сразу же и начинают млеть. Ну да не о том сейчас речь. А ты скажи вот, при чем этот лютый князь до нас?

– А притом, – поспешил ответить ему Дмитрий, – что, как сказывали нам на деревне, как раз у лесной притулицы есть у него жилье, – там у него персидская баба-красавица под присмотром такой же персидской ведьмы живет; для забавы они, значит, кормятся...

– Слышь, – опять перебил товарища Константин, – из-за персидского моря он их сюда вывез. Там-то он ее на аргмака, что ли, выменял, ну и здесь забаву себе устроил...

– А в том же жилье у него татар и калмыков нагнано без числа, – перебил Дмитрий, – и все они на него, князя, как своего бога молятся и во всем его без слова слушают...

– Именно, именно! – воскликнул Константин. – Скажет он им убить кого-либо – убьют! Скажет он им церковь Божию сжечь – сожгут, скажет, чтобы примеченную бабу или девку приволочь, – приволокут...

– Да и мало того, – заметил Дмитрий, – княжеские веления исполняя, и сами охулки на руку не кладут. Так вот я и думаю, что беда, ежели лютый князь Василий в том своем логове у персидской бабы прохлаждается, а тут наша раскрасавица-боярышня на глаза попалась...

– Несдобровать ей! – согласился Константин. – Кажись, Федька-пострел прямо-таки на княжеское логовище наших и вывел...

Иван ничего не ответил; и в его душу закралась внезапная мысль о грозившей их любимой боярышне опасности.

Воцарилось тяжелое, грустное молчание; люди молчали, слова не шли им на язык. Лесная дубрава тоже молчала. Слышался только хруст проталого снега под копытами лошадей.

Так прошло несколько времени.

– Вернуться бы, – прервал тоскливое молчание Митроха, – у нас ножи и кистени, а у тебя, Ванятка, вон и пищаль за плечами болтается.

Иван досадливо махнул рукой и произнес:

– Никто, как Бог! А наших там немало. Ежели что, так есть кому за боярышню постоять, да и Серега там верховодит. Уж он-то боярышни не выдаст, горой за нее встанет. И оборониться есть чем: у кучеров и засапожники, и кистени...

– Ну, будь так! – согласился Константин, а Митроха, поглядев вверх на небо, добавил:

– А вот, ребята, туда ли мы идем-то?

Действительно, только теперь они сообразили, что их путь длился непомерно долго. Согласно тому, что им говорили в деревне, где они ночевали, от проезжей дороги до лесной усадьбы князя Агадар-Ковранского верхом немного больше часа ходу было, а по расчету Ивана они пробирались через лес куда больше двух часов. Да и сама дубрава стала заметно редеть.

– Ой не туда, – воскликнул Константин и задержал лошадь, – заплутались мы...

– Чего заплутались, каркай, ворона! – крикнул на него Иван. – Видишь, из леса выбираемся, стало быть, какое-нибудь жилье да близко.

Он не ошибался. Когда они выбрались из леса и пробрались сквозь его опушку, перед их глазами раскинулась деревушка. Там были люди, а получить подмогу вершникам было все равно от кого.

– Айда, родные, туда! – крикнул Иван, показывая на деревню рукой. – Поди, там крещенные живут, не откажут подмогой в беде нашей.

Он и на этот раз не ошибся. Вершников с лаской приняли в первой же избе, на которую они поехали, и только покачивали головами, когда узнали, что поезд остановился близ заезжего дома князя Василия.

XVII. По лесной дороге

Поселок принадлежал к вотчинным владениям князя, и люди Василия там так же, как и в других окрестных селениях, изнемогали от его взбалмошной жестокости. А люди здесь жили особенные – лесовые; жизнь среди лесного зверья, в постоянной борьбе с ним и с природой наложили на них особый отпечаток: это были не жалкие равнинные рабы, а гордые душой граждане леса.

Когда приютившие вершников жители прослышали о дорожном приключении, они только головами закачали, и один из них вымолвил:

– Кто его знает! Может, боярышню-то и не посмеет тронуть, а все-таки лучше бы ей подальше от него...

– Тогда надобно скорее вернуться! – проговорил с тоской Иван. – Кто там знает, что там вышло...

Дмитрий и Константин нерешительно переглядывались между собой.

– Будто и ночь уже! – заметил первый.

– Ну так что же? – сумрачно поглядел на него Иван. – Или ночь не поспать для боярышни трудно!.. Слышь, что говорят здесь?

Дмитрий заметно смутился.

– Ночь не поспать – что! Да еще ежели для нашей боярышни, – ответил он, – а вот с пустыми руками вернуться нам негоже... Ведь кузнеца нам надобно, а поедет ли кто отсюда на ночь глядя? Пожалуй, и человека не найдешь...

– Не даром поедут, заплатим, что следует, да еще прибавим, – возразил Иван. – Или здесь деньги так дешевы, что лежанье на печи куда их дороже?

Его слова оказались правдою. В самом деле, из-за денег нашелся кузнец, да и еще четверо поселчан, знавших лес вдоль и поперек как свои пять пальцев, вызвались быть проводниками.

Последнее было очень приятно заблудившимся вершникам: теперь они были уверены, что плутать им по лесу не придется. Они тем временем и закусили, и выпили, и незаметно пришли в самое благодушное настроение.

– Ишь ты, словно на охоту собрались! – даже засмеялся Константин, когда увидел собравшихся провожать их парней.

И в самом деле, те были с топорами у пояса, у каждого по ножу, а у одного за плечами виднелась даже рогатина.

– Нельзя иначе, – отозвался на замечание вершника парень, – у нас тут всякого зверья не счесть.

– Волки, что ли? – спросил Дмитрий. – Кажись, волчий вой мы слышали, как сюда ехали; далеко в стороне, и, зная, стая большая была...

– Волки – что! Волки – мелочь. Медвежьих берлог тут много. Сколько мы их тут за зиму подняли – видимо-невидимо!

– Видели и мы это добро! – отозвался Иван. – Где только этой твари не водится! У нас под рубежом их тоже не занимать стать...

– А у вас с чем на медведя идут? – полюбопытствовал другой парень из лесовиков.

– Разное! С рогатиной, а сперва из пищали бьют...

– Что пищали! – махнул рукой третий парень. – В пищали верности нет; либо промахнешься, либо осечка... То ли дело рогатина! Принял на нее медведя, пусть себе барахтается, как напорется, только смотри, чтобы за голову тебя не сгребал...

Наезжие вершники быстро dokonчили предложенное им угощение, живо собрались сами и скоро, несмотря на ночь, все пустились в путь через лес.

Идти теперь было не страшно и не грустно: шли ввосьмером. Лесовики, желая сократить дорогу, повели вершников по им одним известным звериным тропкам. Идти приходилось гуськом. По временам, словно тени, перебежали дорогу путникам всякие зверушки: то юркнет лиса, то прошмыгнет серый русак; на мелкое зверье никто не обращал внимания, и только лошади боязливо прыдали ушами да начинали храпеть, когда где-нибудь поблизости мелькала живая тень. Но вдруг всех заставил остановиться и замереть на месте отчаянный, надрывистый крик человека, которому сейчас же, словно эхо, ответил грозный рев; от него кровь заледенела в жилах даже привычных ко всяким звукам звероловов.

Первым пришел в себя вершник Иван.

– Господи Иисусе Христе и Ченстоховская Божия Матерь! – выкрикнул он. – Да никак это медведь живого человека дерет!

– Похоже! – сумрачно ответил ему лесовик.

Крик, перешедший уже в сплошной вопль, повторился, но снова его заглушило грозное рычание.

– Так чего же мы тут-то стоим? – опомнился вершник Иван. – Не дадим, братцы, христианской душе без покаяния погибнуть... Нас много, кто за мной?

Он сорвал с заплечья пицаль и отпугнул от нее сошник.

Вопль и рычание зверя раздавались совсем близко; можно было идти на них, не опасаясь сбиться с направления. Все двинулись разом за Иваном.

XVIII. В объятиях лютой смерти

Кричал князь Василий, сразу, как только он упал, почувствовав нестерпимую боль в ноге и сообразив всю грозившую ему опасность.

В самом деле еще никогда его полная всевозможных приключений и неистовств жизнь не висела на волоске так, как висела она в эти мгновения.

Зверь был огромный и, видимо, страшно разозленный неожиданным пробуждением. Может быть, счастьем для Агадар-Ковранского было то, что, выпав из седла, он упал в снег.

Медведь не сразу заметил его. Внимание зверя в первые минуты было привлечено конем, отчаянно барахтавшимся и делавшим страшные усилия, чтобы выбраться и умчаться вихрем от лютого чудовища. Но медведь недолго занимался им. Инстинкт подсказал зверю, что поблизости есть враг, более опасный, чем это хрипевшее четвероногое, и лесной гигант стал оглядываться вокруг. Напряженные до последней степени нервы князя Василия не выдержали и он, не помня себя, крикнул, призывая на помощь.

Крик показал страшному зверю, где находится его враг; он страшно зарычал и пошел к своей жертве.

Отчаяние придало силы несчастному Агадар-Ковранскому. Он приподнялся, опираясь на левую руку и пересиливая нестерпимую боль, причем в правой руке зажал обнаженный нож. Но что значило это жалкое оружие? Разве только царапину мог он, истомленный болью, нанести лесному чудовищу! Смерть взглянула прямо в глаза князю Василию, и перед ним вырисовалась вся наносная, обуявшая его безумная скверна, вспомнились уговоры Марьи Ильиничны, и отчаяние охватило его. Он невольно содрогнулся, когда перед ним промелькнули все неистовые ужасы, виновником которых он был на своем веку.

Смерть теперь не шутила с ним, она была неизбежна. Страшный зверь, рыча и сопя, подвигался все ближе, и в такие отчаянные мгновения нет такой крепко спящей совести, которая не проснулась бы и громко не заговорила в самом загрубелом сердце.

Князь Василий не сомневался, что настал его конец; страшная боль приковывала его к земле, он не мог двинуться, а потому лишь только размахивал ножом.

Это раздражало разъяренного зверя. Однако медведь, казалось, был в недоумении и не знал, что значит то обстоятельство, что человек не встает перед ним. Вероятно, у него уже не раз бывали схватки со своими ожесточенными двуногими врагами, и он знал, что те никогда не ждут его нападения, а всегда сами нападают первыми. Тут же было как раз наоборот: человек не наступал на него, а лежал беспомощно и только раздражал его, махая чем-то перед ним.

Зверь топтался на одном месте, не зная, что ему делать, и только ревел и колотил себя по груди, не осмеливаясь подступить к лежащему человеку. Быть может, это и спасло князя Василия от его страшных когтей; но в те мгновения он ничего не соображал, всего его охватила страшная жажда жизни. Он, этот свирепый человек, делавший зло ради зла, жалобно молился и ждал чуда...

И чудо свершилось. Князю Василию вдруг показалось, что он слышит людские голоса, а потому, собрав все силы, закричал, призывая к себе на помощь.

Но он сейчас же забыл о голосах: зверь, очевидно привыкнув к виду лежащего неподвижно на снегу человека, сообразил, что никакой опасности ему не грозит, что враг совершенно беспомощен, и сделал шаг вперед.

Еще шаг-другой – и лесное страшилище кинулось бы на свою жертву, а тогда князь Василий в одно мгновение расплатился бы за все свои злые дела, совершенные в течение его недолгой жизни. Но как раз в этот момент послышалось словно жужжание небольшого шмеля, из-за кустов сверкнул огонек, потом грянул выстрел, и как будто какая-то сила швырнула страшного зверя далеко в сторону, и он страшно заревел. Однако теперь в его реве слышалась уже

не одна только ярость, а также внезапная нестерпимая физическая боль. Пуля достигла своей цели. Медведь завопил лапами по своей огромной морде, видимо стараясь стряхнуть, стереть слепившую его кровь из неожиданной раны.

Теперь он уже вовсе не понимал, что происходит, откуда получен этот неожиданный удар, кто и где были его новые враги.

А они уже стояли перед ним. Трое из них кинулись к лежавшему на земле уже без чувств князю Василию, а двое направились к зверю, и лесной гигант, протерев свои залитые кровью глаза и двинувшись вперед, сразу же напоролся на острую рогатину.

– Принял, что ли? – воскликнул вершник Иван и размахнулся топором.

– Принял! – последовал короткий ответ лесовика. – Лобань космача, да смотри шкуры не попортить!

Топор опустился на башку медведя, но скользнул по ней и рассек ее наискось, не нанеся смертельной раны.

Зверь страшно заревел, замахал лапами, стараясь дотянуться до стоявшего перед ним человека, а острая рогатина все глубже и глубже впивалась в его тело.

Лесная тишь была нарушена. Раздавались человеческие голоса, рев раненого зверя. Удары теперь сыпались на него безостановочно. Вот он сделал инстинктивное движение, как бы поняв наконец, что ему несдобровать в схватке с этими могучими врагами, но было уже поздно: острие рогатины впилось в сердце и разорвало его. Медведь сильно качнулся набок, взметнул лапами, страшно заревел, а потом грузно рухнул на снег, вырвав при падении рогатину из крепких рук охотника, и затрепетал в предсмертной агонии.

– Инда упарился! – снял меховой колпак и отер пот со лба лесовик. – Ишь как возиться пришлось!..

– Н-да, – согласился Иван, – этакая здоровая машина... Грузный какой! – И он ткнул затихавшего зверя ногой и даже плюнул на него.

XIX. Из огня в полымя

– Пойти взглянуть, – проговорил лесовик, – кого из беды вызволить пришлось.
– А знаешь кого? – очутился около них кузнец из поселка. – Да самого нашего лютого князя Василия Лукича!

Лесовик заметно вздрогнул.

– Врешь! – закричал он. – Быть того не может!

– Поди, сам погляди, ежели не веришь...

Смельчак парень надвинул на голову колпак и пошел к кучке товарищей, которые окружили потерявшего сознание Агадар-Ковранского.

– Взаправду князь? – спросил он, подойдя.

– Он самый, – ответили лесовики.

– Кабы знать было то, – отозвался один из них, – так и пальцем не пошевелили бы, пусть бы его на здоровье медведь заломал...

– Вестимо так, – сказал другой лесовик, – медведь меньше зла творит, чем князь Василий; известно – Божья скотина...

– А как князь мучил нас для забавы! А вон теперь лежит и не двигается... Видно, зверь-то лесной – не наш брат, лютовать под ним не могли...

Князь Василий, беспомощный, жалкий, без сознания лежал на снегу среди этих явно враждебно настроенных против него людей.

Пожалуй, и лучше было, что сознание покинуло его... Судьба, вырвав его из когтей одной опасности, кидала его в объятия другой, еще более грозной...

– Расступись-ка, братцы! – раздался звучный голос того лесовика, который принял на рогатину медведя. – Дай мне взглянуть на князеньку!

Голос этого смелого человека звучал как-то совсем особенно. В нем ясно слышались и злорадия, и тоска, и нестерпимая мука. Люди расступились.

– Ой, князенька, – прерывисто захрипел лесовик, – вот как нам встретиться пришлось... Бог-то все видит: бывает время, что и богатым поплатиться нужно... Так-то! Дайкось топор-то! – обратился он к ближайшему из товарищей.

Тот в ужасе попятился.

– Ой, ой! Пришибет он князя-то, – пронесся кругом тихий шепот.

Лесовик злобно засмеялся.

– Миловать не буду... – коротко произнес он и добавил с невыразимой тоской в голосе: – Сестренку, им для забавы замученную, вспомнил... Давай топор!

Тут сказалось все, что накопилось на душе этих измученных людей. Отуманенный клокотавшею в нем злобою человек видел перед собой тирана и не задумывался совершить кровавое преступление...

– Разойдись, братцы, – выкрикнул лесовик, которому кто-то из товарищей сунул в руку топор, – я в грехе, я и в ответе, а вы ни в чем не повинны... У-ух! – размахнулся он топором.

Но опустить удар на голову бесчувственного князя Василия ему не пришлось.

– Не трожь! Чего ты? Или Бога позабыл! – раздался около него окрик, и чья-то сильная рука ухватила, как клещами, его руку и отвела в сторону.

Это был вершник воеводы Грушецкого, Иван.

– Не трожь, не мочи, – повторил он, – вспомни, на какое дело идешь!

– Ты чего? Тебе-то что? Наши счета...

– В них я не встречаюсь, – твердо ответил Иван, – а у нас на Руси лежачего не бьют... Видишь, князь-то словно мертвый валяется, а ты его такого-то пришибить задумал... Небось

кабы он на ногах был, так не посмел бы... Брось, тебе говорю, топор, не то, смотри, худо будет! – И Иван изо всей силы сжал кисть руки лесовика.

– Ты – чужой, – пробормотал тот, – нечего тебе промеж нас встраваться... Небось не тебя его княжеская лютость коснется... А он, наш князь-то, говорят тебе, хуже зверя лесного...

– Пусть! – столь же твердо, как и прежде, возразил Иван. – Вот очнется он, лютый твой князь, и делай с ним, что тебе душа велит, а до тех пор не трожь, не дам!

– И взаправду, Петюшка, – подошел кузнец, – дурное ты замыслил... Сердце-то ты свое потешишь, а потом каяться придется. И никакой поп тебе такого греха не отпустит. Потому, какой он враг сейчас? Малое дитя и то забрыкается, как топор над собою увидит, а он лежит и не дрыгается...

– Верно, верно он говорит! – раздались со всех сторон голоса. – Брось, Петюха, будет у тебя время с ворогом за все поквитаться... Оставь! Не дадим мы тебе душу свою загубить...

– Так это! – опять заговорил кузнец. – Нет ни в одном нашем поселке и во всей округе никого из подлых людей, кто не хотел бы вот, как ты теперь, ему, князю, топором голову раскроить... И стоит он того, окаянный, но убить-то его надо в честном бою, а не тогда, когда он даже не поймет, кто его убил... Не примем на себя его крови, ребята! Пусть Петруха на сей раз уймется...

– А-а-а, – не то застонал, не то заревел Петр, – провались вы все и с князем окаянным вашим! – И он бросил топор. – Делайте, как хотите, берегите его на свою голову!.. Мало им в округе девок да баб перепорчено, мало на роду медведями для потехи народа перетравлено?.. Так и еще больше будет! Хотите того – пусть, а мне с вами не дорога... Нянчайтесь с окаянным... Эй вы, проезжие, айда за мной! – И, не обращая внимания ни на князя, ни на товарищей, Петруха пошел прямо через кусты вперед.

Смущенные вершники Грушецкого последовали за ним.

XX. Успокоившаяся буря

Оставшиеся после ухода Петра и вершников лесовики несколько времени стояли молча вокруг своего князя. Удручающе подействовала на них вся предыдущая сцена. В душе каждый сочувствовал Петру и каждый действительно был готов поступить, как намеревался поступить он, но слова чужого человека пристыдили их: им и в самом деле показалось незамолимым грехом убить бесчувственного князя даже в отместку за все то зло, которое причинял он им.

– Ну и ввалились же мы! В недобрый час из избы вышли, – проговорил один из них, нарушая тягостное молчание.

– И в самом деле, – проворчал другой, – гораздо лучше было бы на печи сидеть.

– А уж если вышли да такое дело приключилось, – выступил третий, – так не сидеть же нам весь век тут...

– А что делать-то? Ну, скажи! – послышались вопросы.

– Как что? Посмотрим сперва, жив или помер князь-то? – И лесовик подошел к князю Василию и потряс его за плечо.

Тот слабо застонал.

– Ишь, жив! – с заметным неудовольствием и даже, вернее, с досадой пробормотал один из лесовиков. – Пойдет теперь перепалка...

– Да его, кажись, и зверь не ломал! – заметил товарищ.

– Значит, таково хорош, что и лесному зверю противен, – философски промолвил первый, – и в аду не надобен.

– Полно вам, братцы, – отошел от князя возившийся около него лесовик, – немощный он, а немощный хоть и враг, но милосердия достоин... Лучше обсудим, что нам делать... Трое нас, рук довольно...

– Что? Да сволочь его в лесное его логово, тут напрямки совсем близехонько, особливо ежели через чащу!

– Так-то так, а только троим нам не снести! – сказал молодой лесовик, косясь на тушу бездыханного медведя.

– Скажи лучше, шкуру бросить жалко! – заметил ему товарищ.

– И то верно, – согласился тот. – Батюшки, да чего мы думаем? Ведь конь есть, наезжие холопы его вытянули из берлоги, пока мы тут с князем возились...

Действительно, Митроха и Константин, заметив бившегося почти под землей коня, воспользовались удобным моментом и освободили его.

– Где же он, конь-то? – водя всюду взглядом, спрашивал лесовик постарше. – Что-то нет его...

Коня и в самом деле нигде не было видно.

– Сорвался да убег, вот тебе и все, – решили лесовики.

Князь между тем метался и стонал. Он все еще не приходил в себя, его стоны были сильны и надрывисты. Видимо, даже будучи в бессознательном состоянии, он сильно страдал.

– Не снести нам его, – твердил лесовик помоложе, – рук мало, да и шкуру здесь оставить нельзя... Попробуй-ка уйти, сейчас лисы явятся, да и волки пожалуют, весь мех перепортят...

– Так оно выходит, – согласился лесовик постарше, которому медвежьей шкуры было гораздо больше жаль, чем своего князя. – Тогда вот что, – предложил он, – пусть кто-нибудь на усадьбу сходит; и впрямь тут через чащу недалеко, пусть подмогу дадут... Чу, слышите!

Где-то в отдалении раздавались человеческие голоса. Издали доносились ауканье, кликанье, громкие удары колотушкой по набатному билу.

– Ишь, – даже испугались лесовики, – ищут самого!

Они не ошибались.

Сорвавшийся конь примчался прямо в лесное поместье князя Агадара и переполошил там всех. Через старика Дрота весть о примчавшемся коне была передана Марье Ильиничне, и та, поняв, что с племянником случилось что-то дурное, сменила свой гнев на милость и не на шутку забеспокоилась. Как-никак, а она любила князя Василия, как родное дитя, любила его со всеми недостатками, всю жизнь жалела его, а узы такой любви не рвутся в одно мгновение, что бы ни говорил внезапно вспыхнувший гнев.

Вспокоилась старушка; куда только и сон девался, откуда и силы взялись. Она загоняла своего старого Дрота, отдавая распоряжение за распоряжением, и глаз больше не сомкнула до рассвета, пока наконец разосланные холопы не принесли из леса стонавшего князя Василия.

По приказанию старушки он был уложен в постель. Страшно страдая, князь то бормотал, то лепетал что-то совсем несуразное. Видимо, ему пришлось пережить сильнейшее потрясение, и он всецело находился под впечатлением его.

Старушка с тревогою смотрела на метавшегося в лихорадочном жару племянника, и слезы проступали на ее глазах.

В усадьбе Агадар-Ковранских был весьма искусный костоправ. Марья Ильинична немедленно вытребовала его в хоромы, и он ловко вправил вывихнутую ногу князя. Тот, почувствовав облегчение, сейчас же крепко заснул, и только тогда уставшая донельзя старушка удалась в свои покои.

На свете так уж устроено, что стоит сойтись троим, четверым людям – добрым, честным, дружным между собою, – и непременно один среди них окажется сплетником. И не то чтобы его сплетня была злостная, а просто хочется ему рассказать о том, чего другие не знают еще. Вот и начинает такой человек хвастаться своим всезнайством, болтать, нисколько не думая о последствиях своей болтовни.

Так было и тут.

Когда холопы подобрали князя, то двое лесовиков остались обдирать зверя, а третий, надеясь получить благодарность, увязался за людьми Агадар-Ковранского. Это был молодой и словоохотливый не в меру парень.

Он уже по дороге начал с подробностями, которые только в одном его воображении и существовали, рассказывать, как они, провожая наезжих вершников-холопов, натолкнулись на громадного медведя, готового задрать молодого князя. Когда же малый очутился на кухне и выпил хмельной браги, то его язык уже совсем развязался, благо вокруг него набралось много слушателей. Он рассказывал и как княженьку хотел зарубить сердитый на него за сестру Петруха, и как его руку задержал от рокового удара наезжий холоп воеводы Грушецкого. Не преминул он сообщить и то, что наезжие холопы сильно беспокоились, как бы князь Василий не попортил их боярышни, а потому так и спешили уйти от места ночного происшествия.

– И ладно, что они Петруху да кузнеца с собой увели, – высказывал свои предположения разболтавшийся лесовик, – кузнец-то ничего, а Петра, кабы остался, так пришиб княженьку бы!

– Выходит так, – вмешался Дрот, – что они, Грушецкого холопы, нашего князя спасли!

– Выходит, что так! – согласились с ним почти все слушатели.

Тотчас же все подробности этого рассказа через Дрота стали известны Марье Ильиничне. Старушка даже заплакала, слушая их.

– Господи милосердный, – шептала она, – сколь неисповедимы пути Твои! Воистину сказано, что ни единый волос не спадет с головы без воли Твоей... Злое задумал Васенька на наезжую боярышню, а вот как вышло: ее же люди от гибели неминуемой его вызволили... Вот пусть светает только, соберусь да поеду сама, погляжу на красавицу...

XXI. Неожиданное знакомство

Томительные мгновения пережили и старый Серега, и юный Федька, пока за дверью слышались приближавшиеся шаги.

– Не сдавай, Серега, – шепнул старому холопу кравийшийся к двери подросток, – все равно где погибать, здесь ли, или в Чернавске у воеводы... Я живым не сдамся.

Старый Серега ничего не ответил, а только еще крепче сжал и выше поднял дубовую скамью. Зюлейка, вынырнувшая из-за полога, так и замерла в ожидании.

Весь этот шум разбудил, наконец, спавшую мамку.

– Что вы, что вы, оглашенные! – спросонок заголосила не знавшая, в чем дело, старуха. – Разбойничать в чужом доме задумали?.. Вот я вас! Кыш... окаянные!

– Молчи, бабушка, – тихо, но внушительно проговорил Сергей, – спала ты, а мы в лютую беду попали...

– Что зря мелешь? – выкрикнула мамка. – В какую еще там беду?..

– А в такую: боярышню ты проспала бы, кабы не мы...

Старуха привзвизгнула и, закрыв лицо руками в немом ужасе, присела на пол.

В это время дверь приотворилась, и Федор, согнувшись, как кошка, уже готов был прыгнуть вперед. Однако, радостно вскрикнув, он выпрямился, и даже нож выпал у него из рук.

– Дядя Серега, – во все горло заорал он, – брось скамью-то: наши там, Константин с Дмитрием и сам Ванятка... пропащие! Там еще какие-то, а здешнего хозяина и не видать и не слышать...

Действительно, за дверьми были возвратившиеся вершники, но, отстраняя их, вперед продвинулось двое совершенно незнакомых людей.

Один из них, оставшийся позади, был в черной монашеской сутане, выдававшей в нем, как и едва заметная тонзура, католическое духовное лицо.

Другой, красивый молодой человек, скорее – юноша, с гордым и смелым лицом, в богатом польском одеянии, прямо прошел в покой и зорко окинул взглядом всех находившихся там.

На его лице отразилось нескрываемое удивление, когда он увидел и нож, валявшийся у ног Федора, и Сергея, все еще державшего за край скамью, и сидевшую на полу старушку-мамку. Он сразу же понял, что эти двое, а с ними и красивая молодая женщина с кинжалом, только что были готовы на отчаянную борьбу для защиты кого-то им дорогого, и только их появление успокоило их отчаяние, укротило их решимость.

В это время Ганночка пришла в себя. Она услышала шум, голоса и, преодолевая слабость, поднялась с постели и вышла из-за полога. Молодой поляк сейчас же увидел ее и сразу понял, что это-то и было то дорогое существо, ради которого эти люди готовы были пожертвовать своей жизнью. Одежда Ганночки подсказала ему, что это не простолюдинка, а вполне равная ему по своему общественному положению девушка. Сейчас же на губах юноши заиграла улыбка и, приблизившись к Ганночке, он почтительно склонился перед нею, говоря совершенно чисто по-русски:

– Пан Мартын Разумянский, герба Подляшского, королевский поручик. Прошу прелестную панну не обидеть меня своею милостью и дать мне для приветства свою ручку.

Ганночка вся вспыхнула, но, будучи привычной к польскому обращению, с легким поклоном протянула пану Разумянскому руку. Тот припал к ней в почтительном поцелуе.

В покой тем временем все более и более набиралось людей. Однако ни холопов Грушецкого, ни приспешников Агадар-Ковранского не было видно. Новопришедшие и по типу, и по одежам, и по вооружению все были поляки и литовцы. Тут были и старики, и молодые; они держались свободно, но с соблюдением собственного достоинства.

Вершники воеводы Грушецкого, выйдя из леса на наезженную дорогу, прямо и натолкнулись на них, словно нанесла их тут сама судьба.

Пан Разумянский в сопровождении иезуита отца Симона Кунцевича и большой свиты из поляков и литовцев ехал по своим делам на Москву. У него – вернее, у его отца – были поместья и под Смоленском, и в Чернавском воеводстве, и молодой человек был послан родителями, чтобы разобраться в имущественных делах после недавней войны.

Дорога через лес не была прямым путем к белокаменной, но почему-то Разумянский и его товарищи захотели сделать порядочный крюк и направились именно этой дальней, кружной дорогой, и не какой-либо другой.

И вот вдруг из-за кустов, прикрывавших перелесок, появилось трое конных и двое пеших; среди поезжан начался было переполох, так как встречных людей путники приняли было за разбойников – много остро отточенных сабель вылетело из ножен, но, к счастью, недо-разумение скоро разъяснилось и все обошлось благополучно.

Вершники простодушно рассказали обо всех своих приключениях, расписали, насколько им позволяло воображение, красоту своей боярышни и высказали опасения за ее участь.

– Хоть сам-то здешний князь, – сказал вершник Иван, – в беду попал и двинуться не может, а кто знает, какой им приказ своим холопам дан?

– Может, приказал он им схоронить куда-нибудь нашу боярышню, – заметил со своей стороны Дмитрий, – явимся и не найдем ее.

– А что наши там есть, – вставил слово Константин, – так с ними управиться легко: заснут с устатку, что хочешь с ними, то и делай... Хоть перебей всех.

В свою очередь лесовик Петруха не поскупился представить проезжим князя Василия в самом мрачном виде.

Разумянский рассеянно слушал Петра, но все-таки время от времени кивал ему головой и говорил:

– Так, так!

Когда рассказ был кончен, Разумянский обратился к своим спутникам:

– Ну что, Панове, как вы думаете, что нам делать, как нам быть? Я вижу, что пан Руссов желает что-то сказать, – обратился он к высокому, худощавому молодому литовцу, уже несколько раз пытавшемуся вставить свое слово: – Прошу вас, пан Александр!

Литовец тотчас же обратился к товарищам:

– Прошу извинения, паны, и вашего также, пан Мартын, – поклонился он Разумянскому, – но мне известно, что был на рубеже старый московский дворянин Грушецкий и у него красавица – паненка-дочь... Вся округа была от нее в восхищении. Лицом – ангел небесный, и разумом светла... Так и звали у нас красавицу-паненку: разумница! Не про нее ли теперь речь идет? Если только это она, панна Ганна Грушецкая, – пылко воскликнул Руссов, – то, клянусь всеми ранами святого Себастьяна, я готов ради нее в самое пекло к черту на рога пойти!

– Пан Александр влюблен, – улыбнулся Разумянский. – Он наш друг и добрый товарищ, паны; мы с ним и плясали, и рубились вместе, так теперь разве не обязанность наша последовать его призыву и оградить от беды его даму, хотя бы для этого пришлось взяться за сабли!

– За сабли, за сабли! Виват Разумянский, виват Руссов! – раздалось со всех сторон.

Крики долго не смолкали; мелькали обнаженные сабли, кто-то выстрелил в воздух. Все было ясно, все было решено: если бы пришлось ради Ганночки брать штурмом логово лютого князя Василия, то разгорячившиеся паны и перед этим не остановились бы.

Они быстро достигли жилья на опушке. Этот шум и слышали Сергей и Федька, когда были в погребе у колдуньи Аси. Они приняли его за возвращение князя Агадара, но тем больше была их радость, когда перед ними оказались друзья, а не лютый враг.

Ганночка тоже поняла, что случилось такое, что грозило опасностью, и только появление этих избавителей предотвратило грозу.

XXII. Кровопролитие

Пан Разумянский после поцелуя руки с восхищением смотрел на Ганночку. Этот восторженный взгляд смутил ее и даже заставил потупить.

Собственно говоря, Ганночка даже обрадовалась этой встрече. На нее словно чем-то привычным, даже родным пахнуло от этих напыщенных фраз молодого поляка, так она привыкла к ним, живя в прирубежном имении своего отца. Но в то же время ее смутили неожиданность и полное недоумение, которое ощутила она, оглядевшись вокруг себя. Ей стало стыдно, что этот молодой красавец застал ее около готовых к отчаянной драке холопов, и она подумала, что он непременно осудит ее за это.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.